

Френцель К.

ЛЮЦИФЕР

ТОМ 2

ИСТОРИЯ В РОМАНАХ

История в романах

Карл Френцель

Люцифер. Том 2

«Алгоритм»

УДК 821.112.2
ББК 84(4Гер)

Френцель К.

Люцифер. Том 2 / К. Френцель — «Алгоритм», — (История в романах)

ISBN 978-5-486-03980-5

Карл Вильгельм Френцель (1827–1914) – немецкий романист и эссеист. В 1861 г. поступил в редакцию берлинской «Национальной газеты» как фельетонист и театральный критик. Его статьи о немецком театре были даже изданы отдельной книгой в Ганновере в 1877 г. под заглавием «Берлинская драматургия». Но известность Френцеля основана главным образом на его романах. Сначала появились произведения на современные ему темы: «Мелузина» (1860), «Суета» (1861) и «Три грации» (1862), а за ними последовал целый ряд исторических романов из времен второй половины XVIII в. Сюда относятся: «Папа Ганганелли» (1864), «В манере Вагто» (1864), «Шарлотта Корде» (1865), «Свободная земля» (1868), «Девственница» (1871), «Люцифер» (1873) и множество других романов и рассказов. Полное собрание сочинений Френцеля вышло в Лейпциге в 1890 г. Во втором томе этого издания публикуется окончание романа «Люцифер», события которого происходят в 1808 г., во время войны Австрии и Франции. В книге есть все, что любят поклонники историко-приключенческого жанра: и тайные заговоры, и дворцовые интриги, и любовные приключения.

УДК 821.112.2
ББК 84(4Гер)

ISBN 978-5-486-03980-5

© Френцель К.

© Алгоритм

Содержание

Часть III	7
Глава III	7
Глава IV	19
Глава V	29
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Карл Френцель

Люцифер. Том 2

© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2011
©ООО «РИЦ Литература», 2011

* * *

Часть III Окончание

Глава III

Неожиданный приезд Наполеона смутил парижан. Все были уверены, что он в Испании, между тем как он сидел в Тюильри, составляя планы для новых войн.

Многие жестоко осуждали его, что он, не закончив покорения Испании, прервал его на половине. Кровь наших солдат текла напрасно; шайки испанских инсургентов опять соберутся в Манха и в Андалузии, и придется опять усмирять их и, быть может, с меньшими шансами на успех. Беспокоило также французов намерение императора начать третью войну с Германией. Бедняки боялись нового набора, зажиточные люди – потери состояния, так как, в случае неудачи и свержения Бонапарта, могла опять наступить революция со всеми ее ужасами.

Эгберт с удивлением заметил, что французы, несмотря на свое тщеславие и жажду славы, относились с недоверием к своему будущему. Они смеялись над мечтами Эгберта о наступлении вечного мира и устройстве всемирной монархии, где бы процветала торговля, ремесла, искусства и науки. Империя, возражали ему, в один прекрасный день распадется и исчезнет с лица земли, как дворцы фей в волшебных сказках. Наполеон, как всякий сказочный любимец счастья, забудет когда-нибудь произнести вовремя магическое слово, с которым связано его превосходство над другими людьми, и в один прекрасный день проснется таким же бессильным и простым смертным, как мы все.

Но за всеми этими толками о благе Франции и судьбе императора скрывалось общее нежелание новых приключений и риска. Это настроение заметно было не только в низших классах, но и среди маршалов и высших сановников, которые хотели спокойно наслаждаться случайно приобретенным положением и богатством. Но что могло значить настроение публики для Бонапарта! Оно не имело настолько силы, чтобы даже замедлить на один час его приказаний. Тайно могли проклинать его, но внешне все покорялись ему.

С невероятною быстротою шли приготовления к новой войне: производился набор войск, без усталы работали в арсеналах. После отставки Талейрана все были уверены, что Фуше будет также снят со своей должности. Но это ожидание не испугало министра полиции, испытывшего столько переворотов в своей жизни.

– Этот господин воображает, что может царствовать без нас, – сказал Фуше о Наполеоне одному из своих приятелей. – Год или два куда ни шло, а потом он будет внизу, а мы наверху. Революция поглотила Дантона и Робеспьера; не стоило труда делать ее, если она и его не поглотит.

Прежние любимцы императора с неудовольствием замечали, что со времени своего возвращения из Испании он приблизил к себе какого-то иностранца с вкрадчивыми манерами и красивой наружностью. Это был шевалье Цамбелли. Никто из придворных не знал его; только некоторые помнили, что видели его мельком при дворе вице-короля Евгения. Тотчас по прибытии своем в Тюильри император потребовал его к себе. Почти ежедневно они работали вместе: всем было известно, что шевалье приехал из Австрии, и потому не могло быть сомнения относительно сущности этих совещаний.

Событие в игровой комнате гостиницы «Kugel» имело решающее влияние на судьбу Цамбелли. Он уже давно служил императору, представил ему много доказательств своей верности, смелости и хитрости, но его заветная мечта занять видное место при французском дворе осталась неисполненной. Наполеон ценил его как ловкого и ни перед чем не останавливающегося

шпиона и авантюриста, щедро награждал его деньгами, но держал его в почтительном отдалении от себя и, видимо, избегал его.

Цамбелли чувствовал эту холодность, и она была для него источником нескончаемых мучений, но когда секретарь французского посольства сообщил ему о желании императора видеть его, то это было для него пробуждением к новой жизни. Любовь к Антуанетте еще некоторое время сдерживала его честолюбивые стремления и изменнические планы, пока ему не показалось, что Антуанетта не любит его. «Она еще честолюбивее меня, – подумал он, – и только тогда будет считать меня приличной для себя партией, когда я к ней явлюсь маршалом или с титулом герцога. Я отправлюсь к Бонапарту и достигну цели моих стремлений».

Это решение окончательно созрело в его голове, когда в руках его очутилось зашифрованное письмо, переданное ему Армгартом в гостинице «Kugel». Теперь он мог смело рассчитывать на хороший прием со стороны императора.

Заручившись письмом, Цамбелли заблаговременно удалился из игровой комнаты и в ту же ночь уехал из Вены, воспользовавшись медленностью австрийской полиции. Во владениях князей Рейнского союза он был уже в полной безопасности и беспрепятственно пересек французскую границу благодаря паспорту, которым снабдил его генерал Андраши. Только в Париже Фуше задержал его на некоторое время под разными предлогами. Предполагая, что Цамбелли везет какие-нибудь важные бумаги императору, он хотел выманить их у него, чтобы присвоить себе главную заслугу. Он пробовал подкупить итальянца деньгами и, видя, что это не удастся ему, задумал арестовать его. Но шевалье опередил его и обратился за помощью к парижскому префекту Дюбуа, который был заклятым врагом Фуше. Дюбуа не только предоставил ему средства, чтобы ехать в Испанию к императору, но еще сообщил ему подробные сведения о преступных действиях Фуше, его тайных совещаниях с Талейраном и сношениях с Бурбонами. Когда Фуше после некоторого колебания решился наконец арестовать Цамбелли, то тот уже выехал из Бордо.

Второго января 1808 года Витторио уже был на королевской военной дороге из Вальядолида в Кастилию и настиг императора в нескольких милях от Асторги.

Встреча произошла среди большой дороги при сильнейшей метели. Император ехал во главе своего войска; на нем была богатая шуба, подарок царя Александра I; он осадил свою лошадь, когда к нему подъехал Цамбелли в своем развевающемся плаще, держа бумаги высоко над головой.

– Дешши из Франции!

– Вы дрожите от холода, – сказал император.

Цамбелли ехал день и ночь, чтобы обогнать курьера, которого министр полиции ежедневно посылал к императору.

– Нет, от счастья видеть ваше величество, – ответил Цамбелли, спрыгнув с лошади.

Наполеон прежде всего распечатал донесение префекта Дюбуа, которое показалось ему настолько важным, что он велел развести бивачный огонь у гигантских дубов, растущих около дороги. Он пригласил шевалье к огню и около часу говорил с ним. Витторио рассказал ему ловко придуманную историю о своем бегстве из Австрии и о том, как он с опасностью для жизни овладел важными документами. С этими словами он передал императору письмо графа Стадиона, где было сказано: «1 марта 1808 года вооружение Австрии будет закончено и мы без промедления начнем войну...» Не менее важно было для императора то обстоятельство, что Цамбелли мог сообщить ему подробные сведения об этом вооружении, число полков, орудий, имена командиров и т. д.; и также относительно того направления, какое приняло народное движение в Германии за последнее время.

Бонапарт слушал Цамбелли в глубокой задумчивости. Опасность со стороны Германии была настолько очевидна, что он решился против своего желания бросить преследование англичан в Испании и немедленно вернуться в Париж.

Цамбелли приехал двумя днями раньше. Со времени разговора на дороге под дубами Асторги Витторио сделался любимцем императора. Теперь он с избытком был вознагражден за все те унижения, которые ему пришлось испытать в высшем австрийском обществе. Он собрал такие сведения о людях, их отношениях и характерах, что в ожидании новой войны с Австрией сделался необходимым человеком для Бонапарта.

– Этот итальянец точно упал с неба, – рассказывали адъютанты и придворные, сопровождавшие императора в испанском походе. – Никто из нас не слышал даже его имени. За несколько дней он умудрился заслужить расположение подозрительного Наполеона!

– Он мог привлечь императора магнетизмом, – утверждали придворные дамы, очарованные наружностью и ловкими манерами Цамбелли.

Даже в небольшом кружке приятелей, которых собрал у себя Венъямин Бурдон, несколько раз заходила речь о шевалье. Бурдон договорился с Эгбертом, чтобы тот не упоминал о своем знакомстве с Цамбелли, так как это могло помешать свободному высказыванию мнений.

Все в один голос признавали недюжинный ум Цамбелли и его умение обращаться с людьми и предсказывали ему блестящую будущность, тем более что император чувствовал особое расположение к людям, которые, подобно шевалье, отдавшись ему, сжигали за собою мосты и возлагали на него всю надежду.

– Я вполне согласен, что он даровитее многих из прежних любимцев императора и ведет себя с большим тактом, но ведь и он пользуется незавидной репутацией, – сказал один из гостей, с умным и выразительным лицом, изрытым оспой и с преждевременно поседевшими волосами. – По-видимому, он участвовал в дурном деле...

– Да говори же яснее, Дероне, – сказал с нетерпением Бурдон.

– Мне лично ничего не известно. Но Фуше недавно, рассердившись на него за что-то, сказал: «Он забывает, что если бы я захотел, то мог бы сразу отправить его на галеры».

– Куда он отправил немало честных людей! – возразил Бурдон. – Разве ты можешь поручиться за Фуше?

Дероне и Бурдон были друзьями со школьной скамьи. Дероне был старше пятью годами и прошел через все перевороты того времени: в качестве уличного гамена участвовал во взятии Бастилии, юношей – во время приступа Тюильри – и теперь состоял на службе империи в должности комиссара сыскной полиции. Однако, несмотря на это, он оставался верным своей дружбе к Бурдону и своим республиканским убеждениям, как утверждал Бурдон.

Большинство гостей были яркими республиканцами и близкими приятелями Бурдона, которых он угощал дружеским обедом. Все были в наилучшем расположении духа, чему немало способствовало хорошее вино.

Здесь для Эгберта наглядно выяснилась разница между двумя национальностями: французской и немецкой. В Германии разговор друзей одинаковых убеждений, перейдя из узкого круга личных интересов, неизбежно вращался бы около поэтических и философских идеалов, между тем как для гостей Бурдона и его самого ничто не имело цены, кроме политики. Эти люди в ранней юности пережили волнения революции, с ее событиями были связаны лучшие воспоминания их личной жизни. Припоминая свою молодость, они говорили о Мирабо, жирондистах, заседаниях Конвента, народных собраниях, как немцы стали бы говорить о своих школьных товарищах, учении и преподавателях. Государственная жизнь у этих людей поглотила всякую другую деятельность; к ней направлены были все их заветные желания и надежды; в ней заключалась слава и счастье как их самих, так и отечества.

На замечание Эгберта, что большинство образованного парижского общества, по его наблюдениям, занято мелочными интересами и увлекается пустяками, ему ответили, что это делается с той целью, чтобы отвлечь внимание подозрительного Бонапарта.

– Парижане, – сказал один из гостей, – во избежание его гнева делают вид, что боятся политики, как заразы. Но пусть Наполеона постигнет большое несчастье, например беспрецедентное поражение...

– Кто может победить его? – прервал с живостью Эгберт. – Он уничтожил лучшие войска Европы, из земли не вырастут новые.

– За границей, – заметил Бурдон, – преувеличивают силу этого человека. Его венчают лаврами; все его победы приписывают ему лично. Но что, в сущности, составляет его силу? Революция, республика. Они создали войска, перед которыми трепещет Европа. Не его орлы воодушевляют их, а мысли о свободе и равенстве. Весь вопрос в том, долго ли продлится это ослепление. Он как безумный расточает людей и богатства страны. Европа поклоняется ему, как герою. Он только ловкий и счастливый вор. Каждый из нас достиг бы тех же результатов, если бы так же бесцеремонно, как Наполеон, распоряжался средствами, предоставленными ему великой нацией в минуту заблуждения.

Против этого трудно было возражать что-либо. Эгберт вполне понимал, что республиканцы не могут простить Наполеону 18-е брюмера и низвержение республики.

– Поверьте, – добавил Дероне, – что недалеко то время, когда вся Франция открыто выразит ему свою ненависть. Он мог обуздать нас на время, но ему не удастся превратить французов в рабов. Ни один укротитель львов не умер своей смертью.

– Это говорит блюститель закона! – сказал с удивлением Эгберт.

– Да, я придерживаюсь существующих законов, пока новая революция не создаст лучших. Права народа выше закона.

Эгберт молчал. Логика революционеров возмущала его.

– Вы немец и аристократ, – сказал с улыбкой Бурдон. – Вы не можете понять нас.

– Между моими соотечественниками вряд ли нашлось бы много людей, которые бы прикнули к вашим принципам.

– Наши победы, быть может, научат вас гражданским доблестям, – высокомерно ответили ему республиканцы. – Мы надеемся, что со временем все немцы сделаются французскими гражданами.

– Предоставьте нам устраивать у себя нашу жизнь по нашему собственному усмотрению. Мы любим наше государственное устройство и учреждения и мало-помалу, не торопясь, стараемся уничтожить то, что уже устарело и отжило свой век. Кто знает, не было ли величайшей ошибкой вашего императора, что он не пощадил особенностей нашего быта и подвел нас под общую мерку.

– Скорее можно сказать, что уничтожение Германской империи, этой средневековой руины, его величайшая заслуга. В этом случае он оказался достойным сыном революции.

– Для нас Германская империя имела и всегда будет иметь значение в смысле объединения и сознания общей национальности, – сказал Эгберт. – С нею связаны наши лучшие исторические воспоминания. Наконец, позвольте вам заметить, господа, что если вы любите и защищаете свободу, то не лишайте и нас права самим распоряжаться в нашем государстве.

– Во всеобъемлющей республике все люди будут одинаково счастливы; это будет всемирное братство.

– Но если мы не желаем республики!

– Мы не можем допустить существование таких государств, как ваше, около наших границ. Мы вас принудим покориться свободе. Впрочем, мы сильнее вас; опыт показал, что мы непобедимы.

– Мы это увидим. Вы непобедимы, потому что во главе ваших войск Наполеон. Известно, что будет без него. Ваши отзвыы о нем крайне несправедливы.

– Вы любите угнетателя вашего отечества, месье Геймвальд! Вы первые должны желать его гибели.

– Я не люблю его, но поклоняюсь ему и нахожу странным, что французы ненавидят человека, который распространил их государство до Эльбы. Он же выполняет вашу мечту о покорении Германии. Для нас, разумеется, не существует разницы между Французской республикой и империей в том смысле, как вы говорите. Если мы должны быть под гнетом чужеземного ига, то мы скорее подчинимся, как наши предки саксы, какому-нибудь Карлу Великому, нежели республиканскому конвенту.

Эгберт замолчал. Он видел в этих республиканцах, толкующих о свободе и всемирном братстве, те же завоевательские наклонности и жажду славы, которая охватила тогда всю Францию. Разве мог Наполеон вести войну за войной, если бы французский народ не разделял его воинственных стремлений! Неразрешимую загадку представлял для Эгберта народ, который во имя свободы совершил невероятный переворот, чтобы отдать эту свободу в руки одного человека. Точно пораженные слепотой, шли французы за победителем из страны в страну, не замечая, что с каждым расширением границ своего государства они все глубже и глубже погружались в рабство. Не имея ни способности, ни сил провести в собственной стране возвышенные принципы великой революции, они как будто поставили себе задачей уничтожить счастье и независимость других народов.

Между остальными гостями в это время шел оживленный разговор о предстоящей войне с Австрией и ее последствиях для Франции в случае победы или поражения. Толковали о том, что в войске много республиканцев, и возлагали большие надежды на полковника Армана Луазеля.

«Неужели это тот Луазель, который жил у нас в доме!» – с удивлением подумал Эгберт. Большинство присутствующих было того мнения, что не следует желать новых побед.

– Сделайте одолжение, побейте нас в этой войне, – сказал Бурдон, потрепав Эгберта по плечу. – Как ни тяжело будет для французов вынести поражение, но оно нам необходимо. Вот до чего довел нас этот человек, что мы сами желаем гибели нашему отечеству!

– Да, Австрия окажет нам этим большую услугу, – сказал другой, – а всего остального мы сами добьемся.

– Позвольте высказать вам откровенно мое мнение, – сказал Дероне, обращаясь к Эгберту. – Вам не удастся победить его. Наполеона может ниспровергнуть только революция, и притом не наша, а чужая революция. Если по ту сторону Рейна ненависть к его игу пересилит поклонение его гению, если всюду раздастся крик о мести...

– Мечь за безнаказанные убийства! – воскликнул с горячностью Бурдон, вскакивая со своего места.

– Мечь за попранную свободу, за несчастных, которых он погубил в Каене, – сказала разом несколько голосов.

Все молча допили свои стаканы.

– Но помимо зла, которое он сделал Франции, у меня еще личные счеты с ним! – сказал Бурдон взволнованным голосом. – Он отнял у меня отца!

Эгберт с удивлением взглянул на своего друга. Бурдон никогда не вспоминал о смерти отца и прерывал разговор, когда другие говорили об этом.

«Что заставило его самого заговорить сегодня о своем отце?» – спрашивал себя Эгберт.

– Я не могу понять, каким образом австрийская полиция не открыла ни малейшего следа преступления, – сказал Дероне, который был сыщиком по призванию и тем более интересовался таинственным приключением, что оно касалось его друга.

– Убийство совершено среди дня... Жаль, что мне не удалось расследовать это дело! Но вы, месье Геймвальд, были на месте преступления и, кажется, еще застали в живых старого Бурдона, неужели у вас не появилось никаких подозрений...

Эгберт отрицательно покачал головой.

– Он ничего не знает! – сказал с нетерпением Бурдон, который ходил взад и вперед по комнате. – Он принял участие в умирающем, какое ему дело разыскивать убийц. Вот если бы камень мог говорить!..

– Какой камень? В чем дело? Я первый раз слышу об этом, – сказал Дероне с видом охотничьей собаки, которая напала на след дичи.

– Несколько дней спустя после убийства, – начал нехотя Эгберт, – я получил опал в золотой оправе от полусумасшедшей крестьянской девушки из той местности. На камне вырезан орел. Очевидно, что эта вещь была набалдашником палки или хлыста, а так как в этой странной истории играет роль какой-то всадник, то опал, вероятно, приделан был к хлысту.

– Скажите, пожалуйста, сделаны ли были попытки отыскать всадника?

– Нет, местный судья из робости сам старался замять дело.

– Они знали, кто замешан в этом деле, – сказал Бурдон.

– Но это не помешает мне, Фуше, или, лучше сказать, правосудию воспользоваться находкой. Не можете ли вы, месье Геймвальд, показать мне этот опал или вы велели переделать его?

– Нет, – возразил, краснея, Эгберт. – Может быть, вы будете смеяться надо мной, но я всегда ношу его с собой.

С этими словами Эгберт вынул опал из кармана и подал его Дероне, который сперва ощупал его, а потом поднес к свече и стал внимательно разглядывать его.

– Ну, разумеется, – сказал он, – тут нет и следа запекшейся крови; золотой ободок совершенно гладкий; над орлом маленькая царапина, как будто от иголки. Не помнишь ли ты, Бурдон, не было ли у твоего отца хлыста с опалом?

– Нет, – ответил Веньямин.

– У несчастного Жана Бурдона в день убийства, – сказал Эгберт, – была палка с самым обыкновенным набалдашником, которая и была найдена при нем.

– Ну а кроме таинственного всадника, никто не проезжал по дороге в этот день?

– Тут начинается область предположений, позвольте мне не сообщать их.

– Да это и не по вашей части, – сказал, улыбаясь, Дероне. – Вот если бы мне поручили сделать допрос, то мы узнали бы нечто об этом деле.

Дероне опять поднес опал к свечке и стал разглядывать его против света.

– Вот тут что-то нацарапано, как будто латинское V... Если не ошибаюсь, к вам пожаловали гости, мой милый Бурдон. Кто-то поднимается по лестнице. Спрячьте опал, месье Геймвальд, он может пригодиться нам со временем.

Последняя фраза была сказана так громко, что посетитель, входя в переднюю, должен был слышать ее.

Вслед за тем явился слуга и, подойдя к Бурдону, сказал ему что-то вполголоса.

Веньямин изменился в лице.

– Он хочет видеть меня? Если он здесь, проси... .

Бурдон едва успел шепнуть сидевшему возле него Эгберту: «Шевалье Цамбелли!» – как слуга отворил ему дверь.

Все встали со своих мест, любопытствуя узнать причину такого несвоевременного визита. Бурдон из вежливости сделал несколько шагов навстречу вошедшему.

– Извините меня, месье Бурдон, я не ожидал, что застаю вас за обедом и среди веселого общества, – сказал Цамбелли своим звучным голосом, но с видимым смущением на лице, которое он не мог скрыть, несмотря на свой светский навык. – Но меня послала ваша пациентка, мадемуазель Атенаис Дешан... Она заболела внезапно.

– Как это случилось? Где? Когда? – спросило разом несколько голосов.

– Вероятно, с ней был опять нервный припадок, – заметил Бурдон, взяв со стола свою шляпу.

– Вы не ошиблись, – сказал Цамбелли. – Я оставил ее в сильнейших судорогах. Если мне позволено будет выразить мое мнение, то, по-видимому, это сделалось с нею вследствие сильного волнения, так как она рассердилась до бешенства. Окружавшие ее знакомые вспомнили о вас, как о единственном докторе, которому верит больная; и я, не теряя ни минуты, бросился в карету, чтобы привезти вас.

Чувство обязанности пересилило в Бурдоне все другие соображения; но он не решился ехать один с шевалье и попросил Эгберта сопровождать его.

– Не поедете ли вы со мной, мой друг Геймвальд? – сказал он. – Вы изучали медицину и можете дать мне добрый совет. Надеюсь, что вы, месье Цамбелли, ничего не имеете против этого?

– Напротив, – ответил Цамбелли с вежливым поклоном, – я считаю за честь и удовольствие возобновить мое случайное знакомство с месье Геймвальдом.

Он говорил спокойно, и на лице его не видно было теперь ни малейшего волнения.

Бурдон, уходя, извинился перед своими гостями, что должен оставить их, и выразил надежду, что скоро вернется назад.

Перед домом ждала карета. Витторио сел в нее последним; и они быстро понеслись по улицам.

Дешан жила на другом берегу Сены, поблизости от Итальянского бульвара. Трудно передать все разнообразные ощущения этих трех людей, случайно запертых в тесном пространстве покачивающегося экипажа. Окружавшая их темнота, при слабом мерцании крошечного каретного фонаря на козлах, скрывала их лица своим благодетельным покровом. Сотни раз Витторио проклинал в душе свою злополучную фантазию ехать за Бурдоном. Какое ему было дело до жизни или смерти певицы! Разве около нее было мало людей, которые могли исполнить это не хуже его, вот, например, Арман Луазель, виновник несчастного приключения. Цамбелли даже не мог никого обвинять в этом, потому что сам вызвался на рыцарскую услугу. Разумеется, тут немалую роль играло желание познакомиться с сыном Жана Бурдона. Но какая надобность была торопиться с этим; разве не мог представиться другой, не менее удобный случай! Цамбелли глубоко верил в фатализм, и все его рассуждения привели к тому, что он печально опустил голову с мыслью: «Так должно быть! По крайней мере, я увидел своего врага и буду знать, чего я могу ждать от этого человека». Смутное предчувствие говорило ему, что Бурдон подозревает его в убийстве своего отца. Теперь он едет с ним в одной карете и с Геймвальдом, которого он еще сильнее ненавидел. От обоих он мог ожидать для себя всего самого худшего. По временам кровь прилиwała к его голове, и ему казалось, что он видит при мерцающем свете фонаря стальной блеск кинжала. Ему хотелось броситься из кареты и позвать на помощь; но горло его было как в тисках, и он не мог шевельнуть рукой, которая точно приросла к рукоятке ножа, спрятанного у него на груди. Но вслед за тем он опять успокаивался и убеждал себя, что все это только игра его расстроенного воображения. По его мнению, не только Эгберт, но и Венъямин не способны были на решительное дело. Наконец, в чем могли они уличить его? Разве милость Наполеона недостаточно ограждала его от всяких нападков и опасностей? Если бы известные желания и взгляды могли бы убивать людей, то спутники Цамбелли не доехали бы живыми до места. При этой мысли Цамбелли едва не расхохотался вслух.

«Чего только не бывает на свете! – думал между тем Эгберт. – Сын убитого следует за убийцей по первому зову. Они едут вместе к больной, а там возможно большее сближение. Что за бездна лжи и притворства во всем этом! А ты сам? – спрашивал себя Эгберт. – Какую роль играешь ты в этой драме? Отчего ты не встанешь со своего места и не закричишь ему: убийца! Разве не подтверждается подозрение, которое ты имел против него? Покажи ему опал: ты увидишь, как он побледнеет от ужаса. Ты колеблешься, разве ты хочешь играть роль укрывателя убийцы! – Но чем дальше думал Эгберт, тем больше терялся он в лабиринте сомнений и догадок. Разве он знал причину гибели Жана Бурдона! «Несчастный! – мог ему ска-

зять Цамбелли. – Ты хочешь осудить на постыдную смерть графа Вольфсегга – они вместе с Жаном Бурдоном составляли заговор против жизни французского императора, иначе австрийская судебная власть и сам граф не прервали бы процесса об убийстве таким неожиданным образом, а Венъямин не избегал бы так старательно всякого намека на эту таинственную историю». – Если люди, близко стоявшие к Жану Бурдону, считают нужным щадить убийцу, то какое право имеет он поднимать это дело; разве он может предвидеть все последствия своего заявления. Как спокоен Бурдон! Он, по-видимому, исключительно занят мыслью о больной и уже несколько раз обращался к Цамбелли с разными вопросами относительно ее здоровья и причин, вызвавших припадок».

Витторио давал определенные, но крайне односложные ответы. Из его слов можно было понять, что в одной из зал Пале-Рояля собралась за обедом веселая компания; тут была и мадемуазель Атенаис Дешан с другими оперными певицами и танцовщицами. Атенаис была остроумна, как всегда, и в таком хорошем расположении духа, что ничто не предвещало приближения болезни. Разговор был самый оживленный, рассказывались анекдоты и забавные приключения. Но тут один из присутствующих офицеров, без всякого умысла, упомянул в разговоре о какой-то давнишней привязанности мадемуазель Атенаис. Та покраснела и рассердилась. Затем они довольно резко поговорили друг с другом, и Атенаис схватила нож и бросила его в своего противника.

– Весьма возможно, – добавил Цамбелли, – что ярость бедной женщины относилась к коварному возлюбленному, и ее раздражил неуместный намек. Мы все, разумеется, вскочили со своих мест и поспешили прекратить неприятную сцену. Атенаис при этом лишилась чувств и упала на пол в страшнейших судорогах. Приятельницы увезли ее домой, а я поспешил к вам за помощью.

В этом рассказе не было ничего нового для Бурдона, если только Цамбелли не скрыл самого главного. Бурдон давно лечил знаменитую певицу, знал, насколько она раздражительна и капризна, и объяснял это дурным состоянием ее здоровья, расстроенного долгим пребыванием на сцене. Не могло удивить его и то обстоятельство, что неловкий намек на прошлое Атенаис произвел такое потрясающее действие на ее нервы. Вероятно, немало было у нее как хороших, так и горьких воспоминаний, которых она не могла забыть, несмотря на годы и ряд новых впечатлений.

Карета остановилась. Шевалье поспешно отворил дверцы и, очутившись на улице, вздохнул свободно, как будто вырвался из душной темницы. Он огляделся и поднял голову. Над ним было ясное небо, усеянное звездами; кругом тишина зимней безветренной ночи. Но он не был астрологом и не мог вывести никаких заключений, глядя на эту массу блестящих точек и созвездий. Он не знал, должен ли он радоваться, что избавился от опасности, или упрекать себя, что не воспользовался случаем и не покончил со своими врагами. «Ты мог бы уложить их на месте двумя ловкими ударами кинжала, – сказал он себе. – Но разве это спасет тебя? Ты только тогда можешь считать себя вне опасности, если ты окончательно избавишься от той, которая может все выболтать. Я не знаю, способны ли мертвые чувствовать и думать, но говорить они не могут...»

С этими мыслями Цамбелли вошел в дом в сопровождении своих спутников.

Атенаис лежала на ковре в своей комнате в нарядном платье, которое было на ней во время обеда; правая рука ее судорожно сжимала изорванную шаль; густая коса упала с головы и рассыпалась длинными прядями. Припадок еще продолжался. Судороги сменялись слезами и порывами бессильной ярости. Лицо несчастной было искажено болью и гневом; время и страсти отложили на нем свой неизгладимый отпечаток. Эгберт с удивлением спрашивал себя: неужели это та самая красивая женщина с наружностью Юноны, которую он видел в Тюильрийском саду при солнечном свете? Это был тот же мрамор, но поврежденный временем и земною пылью.

Из всех приятельниц Атенаис только одна Зефирина не покинула ее и осталась ухаживать за нею вместе с горничной. Но обе девушки были так беспомощны, что не могли ничего сделать для успокоения больной, и только приезд доктора несколько ободрил их.

Эгберт и Цамбелли удалились в соседнюю комнату, между тем как Бурдон приказал раздеть больную и уложить в постель. Голос и присутствие Бурдона всегда успокаивающе действовали на Атенаис, она узнала его и послушно повиновалась его приказаниям.

– Я больше не нужен, – сказал шевалье Эгберту, когда Зефирина выбежала к ним с радостным известием, что больной лучше. – Передайте мой поклон и благодарность господину Бурдону. Завтра мы опять увидимся с ним.

Несколько минут спустя Эгберта позвали в спальню. Больная наконец заснула тревожным сном, который беспрестанно прерывался бредом.

Бурдон попросил Эгберта посидеть у постели, пока он даст необходимые наставления обоим девушкам и пропишет лекарство.

Несмотря на участие Эгберта к несчастной женщине, он почти не прислушивался к ее бреду, который становился то громче, то переходил в неясное бормотание. Он видел Атенаис второй раз в своей жизни: какой интерес могло иметь для него прошлое певицы и все то, что могла подсказать ей разгоряченная фантазия. Его занимал вопрос – какие последствия будет иметь для него и Бурдона встреча с Цамбелли, и чем больше думал он об этом, тем сильнее было беспокойство, охватывавшее его душу.

Хотя больная по-прежнему металась на постели, но бред сделался слабее, и она только изредка вскрикивала и стонала. Наконец, мало-помалу, припадок кончился; черты лица разгладились и сделались опять красивыми и молодежавшими. Это лицо поразило Эгберта, когда он взглянул на него, очнувшись от своего раздумья. Оно живо напомнило ему дорогое для него существо. Зависело ли это от матового освещения лампы, или сходство было вызвано игрой его фантазии, которая обманчиво представляла ему милый образ, но впечатление осталось, как ни старался Эгберт отделаться от него. Он не решался произнести имя той, которая была для него олицетворением всего лучшего и святого. Даже воспоминание о ней в комнате парижской певицы казалось ему святотатством.

В это время подошел Бурдон и, постояв несколько минут у постели больной, сказал Эгберту:

– Ей лучше, но припадок может возобновиться. Я проведу здесь ночь. Сделайте одолжение, вернитесь к моим приятелям и скажите, чтобы не ждали меня.

Хотя Атенаис лежала с закрытыми глазами, но, услышав последнюю фразу Бурдона, сказала:

– Пусть он останется; у него такое доброе лицо.

Эгберт опять сел у постели.

Атенаис открыла глаза и, протянув ему обе руки, проговорила с рыданием:

– Магдалена! Отдайте мне ее!

– Уезжайте скорее! – торопил Бурдон. – Она начинает бредить.

– Позвольте мне вернуться сюда, – сказал Эгберт взволнованным голосом.

– Разве только для того, чтобы составить мне компанию, – возразил Бурдон, – потому что ваша помощь не нужна здесь. Но если вы непременно хотите этого, то привезите с собой шахматы. Вы еще не знаете, как длинна и утомительна ночь у постели больного и какие невеселые мысли приходят в это время в голову.

Цамбелли, протрившись с Эгбертом, без всякой определенной цели бродил по улицам Парижа. В одиннадцать часов его ожидал император в Тюильри; в его распоряжении было больше часу времени. При том беспокойном состоянии, в котором он находился, ему всего приятнее было видеть вокруг себя людей, слышать говор и шум.

Откуда мог появиться страх, который он испытывал в карете? Разве Бурдон и Эгберт походили на убийц? Но тем не менее, оставшись с ними наедине, он чувствовал такой смертельный ужас, что кровь как будто застыла в его жилах. Не проснулось ли в нем то, что священники и суд называют совестью?

– Они застали меня врасплох! – оправдывал себя Цамбелли. – Их было двое против одного. Я знаю, о каком камне толковали гости Бурдона, когда я стоял у него в прихожей, ожидая возвращения слуги. Одна выгода во всем этом, что мне теперь все известно.

Припоминая все, что случилось с ним в этот день, Цамбелли мог только благословить судьбу за счастливое стечение обстоятельств. Он знал теперь, в чьих руках опал, и, кроме того, он проведал тайну, которую граф Вольфсегг тщательно скрывал от всех, даже от своих близких.

Цамбелли не погрешил против истины, рассказывая Бурдону сцену в Пале-Рояле, но не придал ей никакой окраски и умолчал о подробностях.

Обед в Пале-Рояле, имевший такой печальный конец, состоялся случайно, по инициативе небольшого кружка офицеров и нескольких господ из дипломатического мира в честь Дешан и других оперных певиц. Цамбелли был в числе приглашенных, так как помимо личного знакомства многие из организаторов праздника надеялись, что вино развяжет ему язык и им удастся выведать у него тайну его отношений с императором. Другие прямо желали его присутствия как умного собеседника, который всегда умел вовремя поддержать разговор.

Сначала ничто не мешало общему веселью, даже толки о предстоящей войне с Австрией, потому что французы до того привыкли к битвам в последние годы, что смотрели на них, как на обыденное явление. Зашла речь и о войне 1805 года. Оказалось, что один из присутствующих офицеров, Арман Луазель, участвовал в этом походе, дрался при Ульме и Аустерлице и квартировал в Вене во время занятия столицы французскими войсками. Неизвестно, подействовало ли на него значительное количество выпитого вина или заговорило в нем тщеславие победителя, только вслед за воинственными рассказами он перешел к своим любовным приключениям. Атенаис Дешан более других подзадоривала рассказчика и смеялась над ним. Луазель, распространяясь о своей жизни в Вене, начал описывать дом, где ему была отведена квартира с двумя товарищами. Цамбелли слушал его с удвоенным вниманием и, чтобы вполне удостовериться в своем предположении, задал ему несколько вопросов. Луазель не только подробно описал знакомый ему серый дом на уединенной улице, но даже назвал имя Эгберта Геймвальда и молодой девушки, живущей у него в доме. Цамбелли видел, что Дешан изменилась в лице, услышав имя Магдалены Армгарт, хотя старалась казаться спокойной.

Луазель наконец сообразил, что говорит о лицах, которые знакомы некоторым из присутствующих, и начал путаться в ответах. Это еще больше возбудило гнев и волнение певицы. Никто не мог понять причину этого, кроме Цамбелли, который стал догадываться, в чем сущность дела. Разговор становился все горячее и громче; остальные гости напрасно старались успокоить разгневанных собеседников. Луазель между прочим сделал намек, что между ним и молодой девушкой завязались нежные отношения; но, «разумеется, невинного свойства», поспешил он добавить.

– Вы лжете самым наглым образом! – воскликнула Атенаис, бросая в него нож, который, на счастье Луазеля, пролетел мимо и упал на пол.

Все при этом поднялись со своих мест.

– Милостивая государыня, – сказал с усмешкой Луазель, – вы не в своем уме! Такие вещи прощаются только женщинам.

– Очень жалею, что я не мужчина и не могу убить тебя, негодный лжец. Ты, может быть, видел в этом доме и графа Вольфсегга? – крикнула еще громче Атенаис, не помня себя от бешенства и падая на пол в страшнейших судорогах.

После этой фразы все стало понятно Цамбелли. То, что он не мог сообразить в первую минуту, вследствие общей суматохи, окончательно выяснилось для него во время странствования по парижским улицам.

В молодости Атенаис была любовницей графа Вольфсегга, Магдалена его дочь. Страх ли революции, пресыщение или измена со стороны Атенаис побудили графа расстаться с ней. Он увез с собой ребенка против воли матери, судя по тону, с которым она произнесла его имя. Армгарт, сопровождавший графа в его путешествии, помог ему в этом. По приезде в Вену секретарь женился и принял меры, чтобы все считали Магдалену его дочерью. Деньги графа сгладили затруднения, которые могли встретиться при устройстве этого дела. Атенаис, вероятно, не знала даже о существовании своего ребенка до сцены в Пале-Рояле; теперь она должна довольствоваться уверенностью, что Магдалена жива и окружена порядочными людьми, потому что граф не решится отдать молодую девушку на руки подобной матери.

Для шевалье вся эта история имела значение только в смысле открытия, которое могло служить для него орудием против графа Вольфсегга. Его отношения к Атенаис не могли быть легкой, мимолетной связью, иначе он не стал бы так заботиться о ее дочери в течение стольких лет!

«Сама судьба отдает твоих врагов тебе в руки! – подумал Витторио с радостным замиранием сердца. – Вооружись только спокойствием и хладнокровием, и ты справишься с ними. Антуанетта влюблена в своего дядю – посмотрим, как подействует эта новость на ее гордое сердце. Вдобавок это будет удобный предлог, чтобы явиться к ней. Она сама обратилась к императору в качестве просительницы и не посмеет упрекнуть меня в измене. Еще вопрос, можно ли вообще называть меня изменником вследствие того, что я оставил неблагоприятное государство, не ценившее мои заслуги и отыскал себе другого господина, который лучше умеет отличить мякину от пшеницы. Что мешает мне добиваться руки Антуанетты? При дворе Наполеона не существует разницы сословий! Не сегодня завтра я могу получить титул маркиза или герцога и сделаться одним из первых сановников государства».

Разница состояний также исчезла между ним и Антуанеттой. Цамбелли знал, что после смерти своего отца Бурдон сделался законным владельцем поместий Гондревиллей в Лотарингии. Между тем к его услугам была казна Наполеона, который вообще не был скуп и умел награждать своих верных слуг. Если его щедрость была в ущерб побежденным народам, то это нисколько не заботило тех лиц, которых узурпатор осыпал своими милостями. До сих пор шевалье упорно отказывался от всяких крупных подарков и выказывал такое презрение к деньгам, что Наполеон вполне уверовал в его бескорыстие. Цамбелли действовал таким образом из прямого расчета. По окончании австрийской войны он хотел заявить притязания на свои родовые ломбардские и венецианские владения, которые сделались собственностью государства, и вместе с тем надеялся получить титул маркиза Цамбелли. Самая опасная и трудная часть пути была пройдена; он вышел из мрака неизвестности; теперь ему оставалось идти торной дорогой для достижения цели. Нужно было только удалить тех, которые прямо или косвенно были связаны с его прошлым, и лишить их возможности вредить ему. Но как достигнуть этого? Где найти средства, чтобы принудить к молчанию Эгберта и Бурдона, вырвать из их рук вещественное доказательство преступления?

Цамбелли знал, что ему не удастся ни напугать Бурдона, ни возбудить его жалости и что против него необходимо принять решительные меры. Он посмотрел на часы и ускорил шаг, чтобы не заставить императора ждать себя.

«Наполеон верит тебе, – сказал он самому себе. – Что тебе стоит возбудить его гнев против Бурдона! Опиши ему черными красками все, что ты видел и слышал в замке Вольфсегга, и придай этому вид опасного заговора, в котором Венъямин Бурдон играет главную роль. Зачем ты служишь Наполеону, если не можешь воспользоваться хотя бы один раз тем влиянием, которое ты имеешь на него?..»

С этой мыслью Цамбелли, закутавшись в свой плащ, проскользнул в боковую калитку Тюльрийского сада, где стоял часовой.

Это была та самая калитка за каштановыми деревьями, через которую когда-то в полночь – как гласила народная молва – прошел серый человек, посещавший императора перед решительными минутами его жизни.

Глава IV

Из всех дам высшего парижского общества в последние три недели молодая маркиза Гондревилль играла самую видную роль при дворе и вследствие этого возбуждала против себя наибольшую зависть. Насколько удивлялись ее мужеству, которое она выказала в Malmaison, обратившись с просьбой к разгневанному императору, настолько же втихомолку многие осуждали ее за то предпочтение, которое ей оказывал Наполеон. Ее приглашали на все празднества в Тюильри и St.-Cloud, и она не решалась отказываться от них из боязни – как она писала графу Вольфсеггу в свое оправдание – навлечь на себя неудовольствие императора и через это замедлить помилование своего брата. Антуанетта знала, что последний будет избавлен от галер и тюремного заключения, но чем разрешится его дальнейшая судьба, оставалось пока тайной.

Сначала Антуанетта тяготилась ролью, которую она играла при дворе узурпатора. Что было привлекательного в Тюильри для дочери одного из самых верных приверженцев Бурбонов, которую с детства воспитывали в непримиримой ненависти к Наполеону? После ее коленопреклонения перед ним и его обещания помиловать молодого Гондревилля ее отношения ко двору должны были кончиться сами собою. С этого времени честь запрещала кому-либо из Гондревиллей поднять оружие против Бонапарта или участвовать в заговоре против него, но ничто не мешало Антуанетте остаться верной своим убеждениям и вернуться к своему уединенному образу жизни. Она сама сознавала это и не раз выражала желание уехать из Парижа, но оба Мартиньи и их хорошенькая дочь постоянно отговаривали ее, доказывая, что она этим поступком может оскорбить Наполеона и повредить своему брату. Когда она высказывала свое презрение к революции и ссылалась на своих родных, которым может не понравиться ее присутствие при дворе узурпатора, то ей отвечали, что Наполеон властелин Франции. «Все короли, – добавлял при этом старый Мартиньи, – признали его равным себе, папа миропомазал его, не смешно ли, что какой-нибудь французский маркиз и немецкий граф относятся к нему с презрением, упорно игнорируя факты?»

Антуанетта должна была скоро убедиться, что этот взгляд разделяло большинство представителей старинных дворянских фамилий Франции. В роскошных гостиных Парижского предместья подымали на смех тюильрийский двор, вновь пожалованных герцогов и графов и даже втихомолку пили за здоровье Людовика XVIII и составляли заговоры о низвержении узурпатора. Но в присутствии Наполеона смолкали самые ярые крикуны и наперебой старались удостоиться его высокого внимания. Ни одному из этих приверженцев монархизма не приходило в голову отказаться от места или отклонить почет, которым они пользовались благодаря милости того же узурпатора. Жены и дочери их соперничали друг с другом, кому из них в торжественных случаях нести шлейф Жозефины.

Почему Антуанетте не поступать таким же образом? Молодая графиня Мартиньи недавно обещала избавить ее от немецкого резонерства и сентиментальности. Исправление пошло быстрыми шагами, потому что Антуанетта сама желала остаться в Париже и, выказывая стремление вернуться к своим родным, обманывала и себя и других. Ей не хотелось так скоро лишиться случайно добытой свободы. Какой скучной и пустой казалась ей жизнь, которую она вела в Вене, по сравнению с ее теперешним существованием. Здесь среди круговорота воинственных предприятий и политических дел открывалось широкое поле для удовлетворения женского тщеславия и для игры в любовь. Общество, в котором вращалась Антуанетта, состояло из самых разнообразных элементов, представлявших смесь старого и нового с полным отсутствием немецкой чопорности и формализма. Эксцентричность молодой девушки и любовь к приключениям, которые нередко навлекали на нее неудовольствие ее родных, казались здесь особенно привлекательными. При этом все считали ее необыкновенно ученой, так

как она много читала и получила лучшее образование, чем большинство парижанок. «Это настоящая Аспазия», – говорил о ней император при всяком удобном случае.

Антуанетте трудно было отказаться от всего этого при ее честолюбии и тщеславии. Сверх всякого ожидания, на ее долю выпала честь блистать умом и красотой при французском дворе! Разве мог заменить все это дом ее дяди в Herrengasse или одинокий замок на озере Траун. Одно время она не представляла себе более завидной участи, как сделаться женою графа Вольфсегга, так как не знала ни одного человека, который мог сравниться с ним по силе воли и нравственной высоте. С его личностью невольно сливались для нее образы поэтических героев. Таким представлялся ей граф Эгмонт; она хотела сделаться его Кларой. Но это была мечта девической фантазии, которая могла осуществиться при спокойном ходе событий. Теперь перед ее ослепленным взором явился другой идеал, а прежний исчез, как туман при солнце.

Ульрих Вольфсегг вполне заслуживал уважения, как безукоризненно честная и цельная личность, но разве он мог сравниться с прославленным героем столетия! Один был полубог, другой – простой смертный.

Чем более увлекалась Антуанетта, тем обаятельнее действовал на нее блеск, окружавший узурпатора. Все, что касалось его, было для нее полно значения и недостижимого величия. Все преклонялось перед ним и обоготворяло его. Даже враги считали его необыкновенным человеком и удивлялись его счастью. Антуанетта подчинилась ему с первого момента их встречи и готова была преклонить перед ним колени, как перед высшим существом. Это впечатление, несомненно, изгладилось бы в самое ближайшее время, если бы он промелькнул перед нею как блестящий метеор и исчез из ее глаз. Но с тех пор она постоянно видела его и чуть ли не ежедневно говорила с ним. Ее присутствие действовало на него смягчающим образом. Чаше, чем в последние годы, бывал он теперь на вечерних собраниях у Жозефины и, стоя у камина, у которого сидели дамы, рассказывал о смелых походах, совершенных им в юности, о своем пребывании в Египте и Сирии.

– Если бы я немедленно овладел St.-Jean d'Acre, – сказал он однажды, взглянув на Антуанетту, – я сделался бы индийским царем и вторым Александром Македонским; Англия была бы не в силах сопротивляться мне.

Догадывался ли он о том, какое впечатление производили эти рассказы на душу молодой девушки? Видел ли он яркий румянец, который при этом разливался по ее лицу? Никогда еще соблазн не являлся женщине в более опасном и горделивом образе. Здесь не было и тени льстивых слов и нежных объяснений, которыми обыкновенно подкупают женское сердце. Не к лицу были суровому императору приемы, напоминавшие Ринальдо в волшебном саду Армиды. Не романтического героя, а настоящего цесаря видела перед собою Антуанетта.

Она не была настолько молода и неопытна относительно своего сердца, чтобы не спросить себя в минуты раздумья, к чему может привести ее это увлечение. Она утешала себя мыслью, что чувство не участвует в страсти, охватившей ее душу, и что эта страсть пройдет, как опьянение после опиума. Ее пугала только пустота, которую она будет чувствовать в своей жизни после возвращения на родину.

Иногда пробуждалось в ней честолюбие и желание нравиться всемогущему властелину. Разве римский цесарь не увлекался Клеопатрой! Разве втайне не рассказывались истории любви Наполеона к красивым женщинам, хотя никто не решался произнести их имена. В этом отношении император вел себя вполне порядочно: у него никогда не вырывалось ни одно слово или жест, которые могли бы привести в смущение женщину или подать повод к злословию. Но тайна, которую он свято хранил, не была обязательна для других. Соблазнительные рассказы развращающим образом действовали на разгоряченное воображение молодой девушки; веяние страсти сносило мало-помалу цветочную пыль с ее целомудренной души. Все реже и реже являлось в ней сознание своего нравственного падения; и она с возрастающим нетерпе-

нием ожидала перемены в своей жизни, которая давала себя чувствовать, как весенний поворот солнца.

Занятая собою и своими мыслями, она откладывала со дня на день переговоры, которые должна была вести с Веньямином Бурдоном относительно лотарингских поместий. Какое значение могло иметь для нее обладание замком в отдаленной провинции при том блестящем положении, которое ожидало ее?

Она сильно смутилась, когда ей доложили о приходе Бурдона, и едва не отказалась принять его; но граф Мартины успел остановить ее вовремя, говоря, что она не имеет никакого права бросать дело, которое ей поручили вести, тем более что от этого зависит благосостояние ее родителей.

Вражда между Антуанеттой и Веньямином началась еще с детства. Избалованная девочка ненавидела неуклюжего, кривобокого мальчика; он оскорблялся предпочтением, которое даже его отец оказывал красивой барышне, которая с детской жестокостью преследовала его. Это впечатление осталось неизгладимым, несмотря на годы и разницу общественного положения, разделявшую их. Теперь к этому присоединились еще новые причины неприязни.

Бурдон винил в смерти отца Гондревиллей. Антуанетта презирала его как якобинца и непочтительного сына и даже втайне обвиняла его в присвоении чужой собственности. Она не могла логически опровергнуть взгляд своего дяди, что Веньямин имеет полное право оставить за собой имения, полученные им по наследству от отца, но была нравственно убеждена, что он тем не менее обязан возвратить их ее родителям и что в этом случае он только исполнил бы свой долг.

Вскоре по приезде в Париж Эгберт сообщил ей, что по завещанию Жана Бурдона, составленному в 1801 году, сын его назначен единственным наследником помимо других родственников. Адвокат графа Мартины, со своей стороны, подтвердил справедливость слов Эгберта, добавив, что считает невозможным оспаривать наследство. Да и как могли эмигранты, живущие за границей, начать заочно процесс о владениях, которые были признаны официально национальным имуществом? Если Бурдон не хотел признавать тайной сделки, заключенной между его отцом и Гондревиллями, то никто не имел права принудить его к этому.

При таком положении дел Антуанетта не решилась коснуться щекотливого вопроса о наследстве во время первого визита, который ей нанес Бурдон по настоянию Эгберта, так как это привело бы их к неприятным объяснениям. Теперь Бурдон явился вторично и по собственной инициативе; ничто не мешало ей узнать от него, как он намерен распорядиться лотарингскими поместьями.

Хотя Антуанетта вообще мало обращала внимания на настроение людей, к которым она была равнодушна или чувствовала неприязнь, но тем не менее мрачное лицо Бурдона поразило ее, когда он вошел к ней в гостиную.

Это было пять дней спустя после несчастного случая с певицей. При полной бессодержательности газет, которым император запретил выражать какие бы то ни было политические убеждения и даже касаться фактов, почему-либо неприятных ему, «происшествие» в Пале-Рояле послужило удобным сюжетом для бесконечной газетной болтовни. Благодаря этому Антуанетта могла начать разговор с Бурдоном вопросом о здоровье его больной.

Веньямин ответил на это в нескольких словах, выразил надежду на скорое выздоровление мадемуазель Дешан и хвалил Эгберта за то участие, которое он принял в незнакомой ему женщине.

– Я давно не видела моего милого соотечественника, – сказала Антуанетта, – едва ли не с того воскресенья в Malmaison.

– Мне самому скоро придется проститься с ним. На днях я уезжаю из Парижа, да и он, вероятно, недолго останется здесь.

– В первый раз слышу об этом, – сказала, краснея, Антуанетта. – Разве господин Геймвальд говорил вам, что намерен вернуться в Вену?

– Нет, маркиза, но он должен будет уехать отсюда, когда Франция объявит войну его отечеству.

Антуанетта отвернулась и стала разглядывать цветы, стоявшие на столе.

– Эти вещи не касаются женщин, – сказала она с принужденной улыбкой. – Вы, должно быть, также едете на войну, месье Бурдон, и пришли со мной проститься?

– Да, почти так. Бонапарт по своему капризу может послать каждого из нас в изгнание и на смерть. Мы должны скорее устроить свои дела, пока еще можем располагать собой. Меня сильно беспокоит одно дело. Могу ли я рассчитывать на вашу помощь?

– Как должна я понимать ваши слова, месье Бурдон? Разве вам грозит опасность...

Бурдон презрительно приподнял свое уродливое плечо.

«Кажется, эта тщеславная аристократка воображает, что я пришел просить ее милости», – подумал он с досадой и добавил вслух:

– Я не думал занимать вас своей особой, маркиза! Вам, вероятно, известно, о чем совещался ваш дядя с моим отцом в октябре прошлого года.

Она изменилась в лице. Заговор против Наполеона казался ей теперь вопиющим преступлением, достойным небесной кары.

– Вы молчите. Разумеется, вы не знаете и не можете знать этого! – заметил насмешливо Бурдон. – Ведь эти вещи касаются только мужчин! Во всяком случае, кто-нибудь должен передать графу Вольфсеггу, что все нити известного дела в одних руках. Если начнется война с Австрией и Наполеон опять займет Вену, графу несдобровать. Лучше умереть на поле битвы, чем сделаться пленником при этих условиях.

– Вы пугаете меня своими предостережениями. Отчего вы не сообщите ваших опасений господину Геймвальду, хотя я уверена, что они преувеличены.

– Вы хотите пожертвовать невинным человеком, как это сделали ваши родные с моим отцом. Не лучше ли вам самой написать в Вену? Ваши письма никто не вскроет, и на ваши слова больше обратят внимания, чем на чьи-либо другие. Обещайте исполнить мою просьбу. Вы видите, дело идет не о моих интересах.

– Я даю вам слово предупредить графа Вольфсегга, хотя все, что вы мне сказали, кажется каким-то сном.

– С моей стороны приняты все предосторожности. У меня ничего не найдут, кроме пепла...

– Значит, и вы заговорщик!.. – воскликнула она испуганным голосом, отодвинувшись от него.

– Да, я такой же заговорщик, как ваш отец и граф Вольфсегг...

Антуанетта охотно прервала бы разговор, который становился для нее все неприятнее, но она настолько же боялась, насколько ненавидела Бурдона. В его взгляде и тоне было что-то вызывающее, она ежеминутно ожидала, что он скажет ей: «Изменница! Раба Наполеона!»

Но ее опасение не оправдалось. Он продолжал:

– У меня еще другая просьба к вам, маркиза. Передайте это письмо Геймвальду. Не беспокойтесь, в нем нет ничего политического. Я слишком дорожу свободой и жизнью этого человека, чтобы вовлечь его в опасное дело. К несчастью, он больше замешан, нежели подозревает.

– Слушая вас, месье Бурдон, можно подумать, что мы живем во времена Тиверия или Калигулы, – сказала с горячностью Антуанетта. – Вы разве не слышали, как милостив был Наполеон к Геймвальду?

– Все это может быть. Но вы забываете, маркиза, что благодаря вашему семейству мы оба с Эгбертом, помимо нашей воли, попали в сети, из которых нам вряд ли удастся выпутаться.

Положим, Наполеон не римский тиран. Он слишком холоден и хладнокровен для этого. Тем не менее избави вас Бог доверять вашу судьбу сердцу этого человека.

– Я лучшего мнения о нем, так как имела случай убедиться в его великодушии. Вы не можете быть беспристрастным, потому что вы ненавидите его.

– Если я ненавижу его, то потому, что знаю, как относится он ко всему человечеству. Даже червь подымается против того, кто давит его мимоходом.

– Вас не раздавили, а возвысили.

– Он возвысил меня, чтобы доказать, что он пренебрегает ненавистью таких мелких тварей, как я. Мы познакомились с ним при Эйлау. Там, в открытом снежном поле, в морозную ночь, увидел он меня у лагерного огня, среди груды умирающих и мертвых. Я был один с помощником. Он ехал по полю битвы на белом коне. Меня поразило его каменное, нечеловеческое лицо. Вы никогда не увидите его таким, маркиза. Всюду, со всех сторон лежали мертвые и раненые. Ужасающая картина, которая всякого привела бы в трепет! А он, главный виновник всего этого, был спокоен, ясен и весел, как будто взирал на все это с недосыгаемой высоты. Он осадил свою лошадь в нескольких шагах от меня. Благородное животное содрогнулось, почуввав мертвых перед собою. Но его лицо осталось неподвижным. С тем же бесстрашием принимали некогда боги жертвенный огонь! «Тяжелая работа, Бурдон!» – сказал он мне. Я ответил ему: «Когда же кончится эта человеческая бойня...»

– Остановитесь! – воскликнула Антуанетта взволнованным голосом. – Дайте мне письмо, я передам его господину Геймвальду.

– Благодарю вас. Теперь позвольте мне перейти к делу, которое лично меня касается. После смерти моего отца между домами Гондревиллей и Бурдонов возникло спорное дело. Ни один суд не может разрешить его, так как это вопрос совести. Скажите мне, маркиза, кому принадлежит наследство моего отца?

– Месье Бурдон, – сказала она, побагровев от смущения. – Вы должны отдать мне справедливость...

– Вы лично никогда не сделали мне на это ни малейшего намека. Я уверен также, что не вы поручали Эгберту переговорить со мной, а ваш отец или граф Вольфсегг...

– Надеюсь, что вы не нашли в этом ничего оскорбительного для себя.

– Они не могли найти лучшего посредника, но и при худшем результат был бы одинаковый. Вопрос был давно решен в моем сердце. Мне кажется, Гондревилли давно могли убедиться в бескорыстии Бурдонов. Мой отец завещал мне лотарингские поместья Гондревиллей, предполагая, что я возвращу их вам при первой возможности. Он надеялся на скорое воцарение Людовика Восемнадцатого; но у нас Наполеон, император Франции, Гондревилли до сих пор эмигранты. После смерти отца я был в большом затруднении, что мне делать с завещанными имениями. Я не имею никакого понятия в сельском хозяйстве, мне оставалось или отдать имения в аренду, или продать их. Я не решился ни на то, ни на другое; и, наконец, придумал третье средство, но...

– Я ничего не понимаю в юридических вопросах, месье Бурдон, – сказала Антуанетта взволнованным голосом, делая над собой усилие, чтобы казаться равнодушной.

Он бросил на нее быстрый взгляд.

– Это вопрос не юридический и касается только нас обоих.

Антуанетта нахмурила брови, но не решилась прервать его речь неуместным замечанием.

– Я осмелился, маркиза, сделать на ваше имя дарственную запись на имения Гондревиллей.

– Милостивый государь, это...

– Не считайте это для себя оскорблением, маркиза. Я не мог придумать иного способа для передачи Гондревиллям их собственности. Но если вы вспомните, что мой отец рисковал

жизнью и будущностью своего сына, чтобы сохранить Гондревиллям их замок, что он из-за них умер от руки убийцы, то, может быть, иначе отнесетесь к моему поступку...

Антуанетта в смущении опустила голову.

– Вы не внесены в список эмигрантов, – продолжал Бурдон, – а с вашим вступлением на землю Франции вы опять приобрели права французского гражданства. Теперь я могу, не нарушая закона, возвратить вам официальным образом вашу собственность.

В душе Антуанетты происходила борьба самых разнородных чувств. С одной стороны, гордость ее возмущалась насильственным подарком; с другой – она боялась оскорбить отказом человека, к которому чувствовала невольно уважение и благодарность.

Бурдон поднялся с места. Он видел по лицу Антуанетты, что она примирилась с его предложением.

– Дело мое кончено, маркиза! – сказал он со своей обычной саркастической усмешкой. – Мы поняли друг друга, насколько возможно понимание между маркизой Антуанеттой Гондревилль и Веньямином Бурдоном.

– Вы знаете, что этот вопрос, – она указала рукой на дарственную запись, которую он положил перед нею на стол, – может быть окончательно решен только моим отцом. Я поблагодарила бы вас от его имени, но знаю, что вы с презрением отнесетесь к нашей благодарности. Что же касается наших обязанностей относительно вас...

Он сделал отрицательный жест рукой.

– Это лишнее. Я не нуждаюсь в деньгах, я всегда могу прокормить себя.

Он вежливо поклонился ей. Она подала ему руку.

– Надеюсь, что это не последнее наше свидание? – спросила Антуанетта.

– Нет, – ответил Бурдон, слегка прикоснувшись губами к ее руке. – Я уезжаю на время, только не могу определить срока моего возвращения. Вероятно, в мое отсутствие многое изменится здесь. Император чуть ли не ежегодно ставит *va banque* свою корону и Францию против остального мира. Еще большая опасность грозит от него отдельным личностям. Семела должна остерегаться огня Юпитера!

– Дерзкий плебей! – проговорила ему вслед Антуанетта, но Бурдон не слышал этого восклицания, он уже вышел из комнаты.

В то время как Бурдон спускался с широкой лестницы старинного великолепного дома, Цамбелли подымался по ней.

Они встретились на площадке лестницы и, любезно раскланявшись друг с другом, обменялись несколькими незначительными словами.

Бурдон вышел на улицу, но едва сделал он несколько шагов, как кто-то положил ему руку на плечо.

– Как ты поживаешь, Веньямин? Я думал, ты уже в Египте.

Это был Дероне.

– Нет еще. Ты сердисься, что я не обратил внимания на твои предостережения и не уехал отсюда? Но ты знаешь, я доктор и не имею права бросить сразу своих больных.

– Ну, теперь я надеюсь, что ты можешь отправиться в дорогу. Советую тебе поспешить. В твоём распоряжении всего одни сутки. Завтра Дюбуа прикажет арестовать тебя.

– Ты говоришь серьезно?

– Разумеется. Наполеон сильно разгневан. Кто-то наговорил ему на тебя. Если бы ты слышал, как он отделал Фуше, называл его изменником и террористом. По словам Наполеона, «республиканцы и идеологи проникли в мой дом, а полиция ни за чем не смотрит. Но мне нет дела до их угроз и шашней. Я обязан беречь спокойствие Франции и избавить ее от шарлатанов, которые выдают себя за республиканцев и магнетизеров». Надеюсь, что намек на тебя был достаточно ясен.

Бурдон пожал ему руку.

– Спасибо тебе, мой верный друг. Относительно меня будь спокоен. В моем доме не найдут ни одного клочка бумаги, к которому можно было бы придаться. Я все уничтожил.

– Все ли? – спросил с недоверием Дероне. – Ну а я все-таки советовал бы тебе бежать отсюда.

– Я считаю бегство бесполезным. Буду ждать, что будет.

– Ведь это глупо! Если он не расстреляет тебя, то по меньшей мере засадит в тюрьму.

– Если я обращусь в бегство, – продолжал Бурдон, – то это будет лучшим доказательством моей виновности. Учредят следствие – и тогда попадутся многие из моих приятелей. Его клеветы будут гнаться за мной, как за дичью. Бог знает, найду ли я приют в Петербурге. Вдобавок я не чувствую никакой склонности к путешествиям и опасным приключениям. Пусть лучше засадят меня в тюрьму.

– Ты, кажется, считаешь тюремный воздух очень полезным для себя?

– Сколько людей доживали до старости в заключении. Меня будет поддерживать сознание, что я не уступил ему, и он не будет считать меня трусом.

– Каков стоик! – проговорил с досадой Дероне. – Ну, делать нечего! Если ты хочешь поставить на своем, то вооружись терпением. Я похлопочу о тебе. В крайнем случае, мы поможем тебе бежать из тюрьмы.

– Ты лучше позаботься о молодом немце и уговори его поскорее уехать отсюда.

– Постараюсь. Я должен еще одного человека взять на свое попечение.

– Шевалье Цамбелли?

– Да, я буду следить за ним шаг за шагом. Будь я проклят, если не он заварил всю эту кашу, чтобы погубить тебя.

– Вероятно. Но он не ожидает, как я буду спокойно расхлебывать ее.

– Он еще меньше ожидает тех счетов, которые ему придется сводить со мной. Прощай.

– До свидания.

Приятель пожал друг другу руки и расстались на перекрестке двух улиц.

Антуанетта еще не успела прийти в себя от смущения, в которое привел ее визит Бурдона, как услышала в соседней комнате голос Цамбелли, который из вежливости приказал сперва доложить о себе графу и графине Мартины. Это было очень кстати, так как иначе он бы застал ее врасплох и совершенно растерянной.

На днях Антуанетта первый раз встретила его в Тюильри на большом празднике и сделала вид, что не узнала его, но он так упорно становился на ее пути, что она поневоле должна была обменяться с ним несколькими словами. Она обошлась с ним очень холодно и старалась держать его от себя в почтительном отдалении. Ей было стыдно перед ним: она помнила, как уверяла его в Вене, что никогда не будет играть роли в Тюильри и не желает этого! Как ни таинственно было появление шевалье при дворе Наполеона, но на его стороне было то преимущество, что он открыто высказывал свое мнение об узурпаторе. Она не имела права упрекнуть его в измене своим убеждениям, тем более что сама была близка к худшей измене, нежели та, которую мог когда-либо задумать или совершить Цамбелли.

С краской на лице вышла она в соседнюю комнату, где шевалье вел оживленную беседу с ее родными. Он поклонился ей как старый знакомый, но воздержался от улыбки из боязни оскорбить ее. Ему было достаточно, что гордая красавица смущается в его присутствии. Опыт показал ему, что нежные объяснения не действуют на сердце Антуанетты. Чтобы сделать его доступным любви, он должен удалить соперника. Он не подозревал, что в этом тщеславном сердце другая тень, еще более величественная, уже затмила ненавистный ему образ Вольфсегга.

Оба одинаково желали остаться наедине. Тяжелее всякого объяснения было для них молчаливое наблюдение друг за другом и обмен незначительных фраз, где каждое слово имело свой затаенный смысл. Антуанетта, потеряв терпение, дала понять своим родным, что желает

остаться наедине с гостем. Граф и графиня Мартиньи тотчас же удалились под предлогом визита.

– Наконец-то! – сказал Цамбелли. – Благодарю вас, что вы избавили меня от присутствия посторонних людей. Принуждение было слишком тяжело. Я не в состоянии был более скрывать своих чувств. Мне оставалось только удалиться и упустить случай, который, быть может, не появится более.

– При нашей дружбе, шевадье, это опасение кажется мне совершенно напрасным. Вы можете видеть меня, когда вам угодно.

– Разве вы не знаете, что во всех салонах и на улицах толкуют о предстоящей войне с Австрией? Мысль, что уже сочтены часы вашего пребывания в Париже, приводит меня в отчаяние.

– Я еще не думаю об отъезде, – ответила уклончиво Антуанетта. – Наш посланник граф Меттерних надеется на восстановление мира.

– Он только обманывает других. Может ли он думать, что император позволит усыпить себя и будет спокойно ожидать, пока нападут на него?

– Что бы ни случилось, но меня привязывает к Парижу святая обязанность спасти моего брата. Я не уеду отсюда, пока не узнаю, что он на свободе.

– Всякий поймет и одобрит это намерение, даже ваши родители, так как вы возвратите им потерянного сына. Вы представляете собой редкий пример сестринской любви. Если бы вы слышали, с каким восхищением говорит о вас император.

– Его величество слишком милостив ко мне, придавая такое значение моему поступку.

– Его великодушное сердце всегда было способно понимать высокие дела и помыслы. Как ошибается мир относительно этого человека!

– Вы восхищаетесь им, и он, со своей стороны, вероятно, также ценит ваши достоинства...

– Я никогда не скрывал своего уважения к нему, даже в Вене, где небезопасно было хвалить его.

– Опасно! Только не для шевадье Цамбелли!

– Именно мне, потому что вы постоянно нападали на него.

– Теперь вы можете вполне торжествовать. Я сложила оружие и признаюсь, что благодаря предрассудкам воспитания и моим родным у меня составилось крайне нелестное мнение о Бонапарте. Я ожидала встретить тирана, узурпатора, а вместо этого увидела человека, который совместил в себе Цезаря и Августа.

– Вы уже не станете больше сердиться на меня за желание видеть вас при дворе великого Наполеона, – заметил с улыбкой Цамбелли, – где вы заняли положение, достойное вашей красоты и ума.

– Я не могу играть здесь никакой роли; вы забываете, что я иностранка.

– Разве Франция не настоящее ваше отечество? Мы оба – простите такое сопоставление – не можем считать себя детьми холодной и мрачной Германии, мы немцы только по нашим матерям. Здесь свободно развивается страсть, гений не стеснен никакими ограничениями, нет пределов желаниям. Пример императора налицо. Его маршалы мечтают о герцогствах и королевствах. Благодаря ему я наконец почувствовал, что начинаю жить.

Цамбелли выразил то, в чем Антуанетта еще не решалась признаться самой себе.

– Если я поняла вас, – сказала она, – то вы связали вашу судьбу с Наполеоном.

– Я добровольно и сознательно сделался его слугой. Обязательства, которые мы сами принимаем на себя, не могут тяготить нас. К тому же я наполовину итальянец и считаю себя его подданным.

– Не мечтаете ли вы, как его маршалы, сделаться королем или герцогом?

– Главная цель моих стремлений вне власти императора, – ответил Цамбелли. – Она в ваших руках. Я скорее ищу около него удовлетворения той жажды деятельности, которая составляет основу моего существования, нежели чего-либо другого. Я принадлежу к ненасытным людям. Иногда мне кажется, что даже королевская корона не могла бы осчастливить меня. Я никому не решился бы говорить об этом, кроме вас. Вы заглянули в самую глубь моего сердца. Мое счастье...

– Мне кажется, шевадье, – холодно заметила Антуанетта, прерывая его, – что есть вещи, о которых не следует возобновлять разговора.

– Я не хотел напоминать вам самого печального момента моей жизни, когда я должен был навсегда отказаться от счастья и спокойствия. Мне осталась одна надежда, что шум битв и волнения политических дел заполнят пустоту моего существования; но мне вечно будет не хватать того, чем я никогда не наслаждался, и мое горе никогда не затихнет...

Голос Цамбелли дрожал. Он говорил с театральным пафосом, которому умел придать вид непритворного страдания. Гордая аристократка вторично отталкивала его.

«Опять этот Вольфсегг!» – подумал Цамбелли вне себя от ярости.

Но на этот раз он не был так обезоружен, как в тот вечер, когда она бросилась от него в объятия своего дяди. Если он не мог заслужить ее любовь, то хотел доставить себе зрелище ее смущения.

– И война, и политические дела могут увлечь вас и сделаться главной целью жизни, – ответила Антуанетта равнодушным голосом. – Как часто человек ищет своего счастья там, где он не может найти его!

– Вы правы, – ответил поспешно Цамбелли. – Самые умные люди сбиваются с дороги и попадают в болото, гоняясь за блудящим огнем или красивым растением. Также многое оправдываем мы страстью и увлечением молодости. Но факт налицо, ничто не изменит его. Вот, например, граф Вольфсегг...

– Что случилось с дядей? – спросила с беспокойством Антуанетта.

С замиранием сердца вспомнила она слова Венямина. Если заговор сделался известным, то что могло помешать Наполеону употребить насилие и приказать своим клеветам захватить обманом графа Вольфсегга и привезти в Париж?..

– Простите меня, – сказал Цамбелли, – я, кажется, напрасно встревожил вас. Я только хотел привести в подтверждение моих слов давнишнюю историю, которая, собственно, касается друзей и родных графа. Я был убежден, что она давно известна вам.

Возбудив таким образом любопытство Антуанетты, Цамбелли после долгого колебания уступил ее просьбам и рассказал историю отношений графа с Атенаис Дешан.

– Мне интересно было бы знать ваше мнение относительно всего этого, – сказала Антуанетта, выслушав его с притворным спокойствием.

– Если бы речь шла не о графе Вольфсегге, то я не нашел бы в этом ничего необыкновенного. Разве можно удивляться тому, что молодой иностранец во время своего пребывания в Париже вступил в связь с девушкой и обещал на ней жениться, но не сдержал своего обещания. Такие истории случаются чуть ли не каждый день. Но признаюсь, что подобного поступка трудно было ожидать от такого строгого философа, как граф Вольфсегг, который, по-видимому, служил примером самоотречения и неуклонного исполнения долга.

Антуанетта казалась бледной и взволнованной. Цамбелли, прощаясь с нею, чувствовал, как ее рука дрожала в его руке.

Если месть может доставить наслаждение, то шевадье испытывал его в эту минуту, не подозревая, что все его старания не принесут ему никакой пользы и что другой воспользуется ими.

Долго после этого сидела Антуанетта неподвижно в своем кресле с глазами, устремленными в пространство. Она чувствовала гнев и презрение ко всему человечеству.

Цамбелли был прав. Это была самая обыкновенная история. Молодой человек имел любовницу, бросил ее, отнял у нее ребенка и воспитывал его под чужим именем. Но могла ли она ожидать такого поступка от своего дяди, которого она привыкла считать выше простых смертных? Значит, он не лучше и не достойнее других! Как могла она сравнивать его с Бонапартом? Не ради ли него хотела она пожертвовать надеждами на блестящую будущность и отказаться от света! Кто поручится ей, что он будет любить ее и не бросит, как эту несчастную Атенаис.

Вся гордость ее возмутилась при этой мысли. Желание остаться в Париже и насладиться свободой еще более усиливало ее неудовольствие графом Вольфсеггом. Чтобы оправдать себя в собственных глазах, она увеличивала его вину относительно другой женщины.

Она была так занята своими мыслями, что не слышала, как за нею отворилась дверь, и опомнилась только тогда, когда увидела перед собою молодую графиню Мартиньи, которая с таинственной улыбкой положила перед ней небольшой сверток, посланный из Тюильри. Антуанетта поспешно развернула его.

В красивом футляре лежало письмо, перевитое ниткой жемчуга. Прочитав первые строки, Антуанетта с громким криком бросилась на шею своей кузины.

Это было письмо ее брата. Он был свободен.

Глава V

– Уезжайте при первой возможности, – сказал Меттерних Эгберту несколько дней тому назад. – Мы должны пользоваться ветром, который гонит нас обратно на родину.

Едва вышел он из дома австрийского посольства, как подошел к нему незнакомый человек и шепнул на ухо:

– Не ходите к Бурдону, он арестован часа два тому назад. Подробности узнаете из письма.

Известие это глубоко опечалило Эгберта. Теперь ему стало понятно странное поведение Веньямина в последние дни. Он избегал показываться с ним на публике и казался раздражительнее, чем когда-либо.

Вернувшись домой, Эгберт нашел письмо без подписи, в котором объяснена была причина ареста: напали на след заговора, который будто бы был известен Бурдону. Ясный намек на опал с орлом указывал, чей донос, по мнению писавшего, послужил поводом к аресту.

Давно накопившаяся ненависть Эгберта к Цамбелли перешла все границы. В порыве негодования он хотел отправиться к шевалье и потребовать от него удовлетворения. Он горько упрекал себя, что не воспользовался удобной минутой в гостинице «Kugel» в Вене и не остановил этого опасного человека. Неужели он и теперь останется спокойным зрителем, пока месть итальянца не постигнет его самого или графа Вольфсегга? Не лучше ли вступить с ним немедленно в борьбу не на жизнь, а на смерть?

Оставаясь почти безотлучно у постели больной Атенаис и выслушивая ее бред и полупризнания, Эгберт узнал всю историю ее отношений с графом Вольфсеггом и не сомневался, что она была также известна Цамбелли после происшествия в Пале-Рояле. Таким образом, спокойствие дорогого для него человека и счастье Магдалены были в руках итальянца.

Эта мысль не давала ему покоя, и чем дальше останавливался он на ней, тем бессильнее чувствовал он себя относительно своего врага.

Шевалье мог отказаться от дуэли точно так же, как отказался отвечать на его вопрос в гостинице «Kugel». Преследовать его легальным путем, как убийцу! Но где же доказательства против него! Кто решится выслушать обвинения какого-то иностранца против всемогущего любимца Наполеона.

Бросив письмо в огонь, Эгберт невольно задумался над своей странной судьбой, которая неудержимо влекла его куда-то. Едва ли не против своей воли попал он из тишины своего уютного жилища и уединенной улицы в шум и суету нового Рима и круговорот мировых событий. Он был чужд политических интересов, почти враждебно относился к ним, а теперь готов был посвятить им свою жизнь. Он высказал свой взгляд республиканцам и отчасти самому императору, не сегодня завтра, быть может, ему придется защищать свои убеждения с оружием в руках. Он хотел мимоходом познакомиться с политическим устройством и отношениями великой нации, но мало-помалу они всецело поглотили его внимание.

Ожидания его не оправдались. Вместо безусловного поклонения Бонапарту он услышал жалобы, увидел общее неудовольствие. Парижане хвастались и восхищались победами, но ненавидели виновника войны. Конскрипции приводили в ужас сельское население. Высокомерие перед низшими и подобострастие перед высшими сделались отличительными свойствами французов. Бонапарт сравнивал себя с римским цесарем; его приближенные и народ представляли полное подобие римских вольноотпущенников и рабов. Лучшие люди Франции недаром жаловались на упадок своего отечества. Если республика парализовала духовное развитие и мир искусств, то взамен этого она дала политическую жизнь французскому народу, которая в далеком будущем могла привести его к достижению высших благ человечества, свободы, равенства и общего благосостояния. Но вскоре бесчинства и злодеяния черни привели к нескончаемым смутам, и Франция пожелала иметь Вашингтона. Но вместо Вашингтона явился

Цезарь; раскрылись врата храма Януса – бога войны, замолкли музы, исчезли книги, политическое ораторство; умерло стереотипное французское общество со своими знаменитыми салонами; а заря возникающей свободы скрылась за облаками порохового дыма и заревом пылающих городов и деревень.

Эгберт должен был убедиться в справедливости слов графа Вольфсегга. Всемирное государство Бонапарта, которое издали представлялось каким-то гигантским сооружением с незыблемым фундаментом и верхушкой, достигающей облаков, оказывалось вблизи обманчивым миражем, который должен был исчезнуть бесследно.

Ничто не удерживало более Эгберта в Париже, и он решился немедленно вернуться на родину по совету Меттерниха и графа Вольфсегга, который написал ему по этому поводу длинное убедительное письмо. Но тут неожиданно пришел приказ от императора, по которому он должен был явиться в Тюильри на следующее утро, в половине десятого.

– Он завтракает в это время! – говорили Эгберту его знакомые. – Это большая честь!

Но честь эта не радовала Эгберта. Хотя все кончилось для него благополучно, но он не мог без ужаса вспомнить свой разговор с Наполеоном в Malmaison. Он представлял себя карликом, который неожиданно должен встретиться с великаном, так как не мог вообразить иной картины, выражавшей более наглядно то тяжелое сознание бессилия и унижения, которое охватило его душу.

В назначенный час явился он во дворец. Камергер с удивлением разглядывал юношу, так как Наполеон во время завтрака допускал к себе только самых близких людей, знаменитых ученых и художников или своих любимцев.

– Императору угодно говорить с вами наедине, местье Геймвальд, – сказал камергер. – Я сейчас доложу о вас.

Но едва он скрылся за красной бархатной портьерой, усеянной золотыми пчелами, как из противоположных дверей вышел камердинер, которому все обязаны были докладывать свои имена, и, подойдя к Эгберту, поспешно сунул ему в руку небольшую записку.

Эгберт прочел следующие слова:

«Не теряйте хладнокровия. Ни слова о Бурдоне. Rue de Moineaux № 3. Иосиф из Египта».

Он только что успел спрятать записку, как вернулся камергер и знаком пригласил его следовать за ним. Камердинер стоял на прежнем месте; но Эгберт был так озадачен, что не догадался взглянуть ему в лицо.

Он должен был пройти две залы, прежде чем очутился в комнате императора. Он впал в какое-то полубморочное состояние, и он опомнился только тогда, когда камергер громко произнес его имя.

Сделав обычные поклоны, Эгберт вытянулся во весь рост и застыл в этой позе.

Наполеон стоял в нему спиной, с руками, скрещенными на груди, перед столом, на котором лежала карта. Голова его была опущена как бы в раздумье.

У камина, на маленьком столике из красного дерева, покрытом белой скатертью, был сервирован завтрак. В нескольких шагах от императора стоял дворцовый префект Боссе в придворном платье с треугольной шляпой под мышкой, ожидая приказаний его величества.

Обои, обивка мебели, драпри были зеленые. Всюду над окнами, дверями, на часах, над мраморным камином в виде украшения виднелись орлы с распростертыми крыльями с лавровыми венками в клюве, обвивавшими императорский вензель N. На всех столах лежали карты, книги, бумаги. Наполеон занимался делами даже во время своего короткого завтрака.

Занятый своими мыслями, он не обращал никакого внимания на Эгберта. Префект также не двигался.

Наконец Бонапарт поднял голову и медленно обернулся.

Он был, как всегда, в мундире, но без шпаги и орденской ленты.

– А! Вы тут, местье Геймвальд!

Эгберт поклонился.

– Я недавно был в ваших странах на Дунае, – сказал он, садясь в кресло и положив руку на карту. – Австрийцы думают застать меня врасплох; но мы сами явимся к ним с быстротою молнии. Моя главная квартира будет в Вене. Вы, вероятно, хорошо знаете ее окрестности. Вы уроженец Вены?

– Так точно, ваше величество.

– Подойдите сюда. Как вы находите, правильно ли нарисована эта карта?

На столе лежала большая карта русла Дуная от баварской границы близ Пассау до Пресбурга.

– Насколько я могу судить, карта совершенно верна, ваше величество.

– Тут под Веной несколько островов на Дунае. Как называется самый большой из них?

– Лобау, ваше величество.

– Крепкий грунт или болото?

– Все лес и кустарник. Насколько мне известно, остров почти необитаем.

– Вы имеете дом в Вене?

– В предместье Landstrasse и небольшое имение около Шенбрунна.

– Мы скоро будем с вами по соседству, – заметил император со свойственной ему холодной улыбкой. – Я слышал, вы уезжаете из Парижа?

– Да, ваше величество.

– Довольны ли вы своим пребыванием в нашей столице? Как шли ваши занятия? Немцы прилежный, трудолюбивый народ. Ваша молодежь не проводит время в одних удовольствиях, пустой болтовне и не увлекается политическими бреднями, как наши юноши. Она учится и живет среди книг. Я уважаю ее за это. Осмотрели ли вы музеи и библиотеки?

– Далеко не так основательно, как я желал этого. Нужны годы, чтобы изучить сокровища наук и искусств, которые собраны здесь вашим величеством. Наполеоновский Париж представляет полное подобие Рима времен Траяна.

– Только Траян был счастливее меня. Когда он одерживал на границах империи легкие победы над варварами, ему отдавали в Риме божеские почести. Никто не помышлял мешать внутри государства. Даже вечно недовольный римский сенат не вмешивался в его действия. Замолкли софисты, политические болтуны и пустомели. Желчный Тацит с похвалой отзывался о нем. Я сделал больше для Франции, нежели Траян для Рима. Но чем отблагодарили они меня за это? Якобинцы до сих пор не могут успокоиться; они не хотят видеть Францию могущественной и счастливой. Их следовало бы посадить в тюрьму под замок. Сумасшедший дом был бы для них еще лучше. Но, к несчастью, врачи принадлежат к их числу. Кстати, вы, кажется, знакомы с Венямином Бурдоном?

– Точно так, ваше величество, я передал ему поклон от его умирающего отца.

Говоря это, Эгберт смело смотрел в лицо императору. Так делают с львами, когда хотят избежать неожиданного прыжка. Император показался Эгберту еще меньше ростом и шире в плечах, чем в Malmaison.

– От умирающего отца? Это что за история?

Эгберт рассказал в нескольких словах историю насильственной смерти Жана Бурдона.

На строгом лице Наполеона не изменилась ни одна черта, не дрогнула ни одна жилка. Глаза тоже смотрели спокойно и пристально, лоб оставался таким же высоким и гладким, как всегда.

– Да, помню, – сказал он. – Это происшествие было напечатано в газетах. Австрия не может похвастаться своей полицией. Как не найти виновных! Так вот что сблизило вас с Бурдоном! Это в порядке вещей. Разве мог он привлечь вас к себе своими политическими бреднями? Немцы не республиканцы, они преданы своим монархам. Если бы я царствовал в Германии, то считал бы себя счастливым человеком. Вы никогда не носили оружие?

– Никогда, ваше величество, но я могу в случае необходимости владеть им.

– Против меня, вероятно! – заметил с улыбкой император, нюхая табак из маленькой табакерки. – В Австрии организуют народное ополчение из граждан и солдат. Все это вздор! Такое войско не выдерживает строя. Пример Испании мог убедить в бесполезности народного вооружения! Они даже не сумели удержать прохода Сомо-Сиерра против атаки кавалерии. Всякий бандит не может вести войну. Война – искусство!

Он остановился. Эгберт счел нужным сказать что-нибудь.

– Вы это не раз доказывали на деле, ваше величество.

– Я не понимаю, чего хочет ваш государь! Не думает ли он застрашать меня? Народное ополчение, восстание тирольских крестьян, о которых пишет мне баварский король, – все это призраки! Мои полки рассеют их! Ссылаются на пример Франции во время революции. Войска, выставленные комитетом общественной безопасности, генералы, республика, спасение отечества – все это бессмыслица, басня, придуманная якобинцами, чтобы заставить мир забыть гильотину и до известной степени оправдать ее. Я создал французскую армию и сделал ее непобедимой, я один! Император Франц, выступая против меня, может лишиться и государства, и короны.

Наполеон прошелся взад и вперед по комнате, заложив руки за спину.

– Эти старинные европейские династии воображают, что им дана привилегия на вечное существование! Но разве они также не вышли из народа и не обязаны своим возвышением какому-нибудь великому предку! Граф Рудольф Габсбургский был незначительным немецким рыцарем, а его потомки воображают, что в их жилах течет лучшая кровь, нежели моя. Только тот может вполне назвать себя человеком, кто сам создает свое счастье! Какого вы мнения насчет всего этого?

При этих словах Наполеон пристально посмотрел на Эгберта.

– Я простой бюргер, ваше величество...

– И потому не можете иначе думать, нежели я. Вы мне нравитесь, господин Геймвальд. У вас открытое и честное лицо. Я охотно принял бы вас к себе на службу. Не теперь, разумеется. Я не люблю изменников. Но война не продолжается постоянно. Опять наступит мир, и, надеюсь, на долгие годы. Я желаю этого и поэтому намерен действовать быстро и решительно.

– Если ваше величество желаете мира, то дайте его вместо сокрушающих ударов, которыми вы грозите нам. Пощадите мое бедное отечество!

Префект побледнел и с ужасом взглянул на смелого оратора.

– Я не австрийский император! – сказал Наполеон, возвысив голос и топнув ногой.

– Вы могущественнее его! Судьба и ваш гений сделали вас повелителем вселенной! – продолжал Эгберт, вооружившись мужеством. – Вы выиграли больше битв, чем Александр Македонский и Фридрих Великий. Большая слава возможна для вас только в том случае, если вы дадите мир человечеству. Тогда оправдается надежда, которая появилась у нас в Германии, когда вы заняли престол Франции и Италии. Мы были уверены, что явился новый Карл Великий...

Эгберт остановился. Префект пожимал плечами и делал ему знаки, чтобы он замолчал.

– Не мешайте ему, Боссе! – воскликнул Наполеон. – Разве я не должен знать, что думает обо мне молодежь в Германии?

– Образ великого государя встал перед нами, – продолжал Эгберт. – После долгой войны Европа наслаждалась при нем многолетним миром. Как тогда, так и теперь, разрешение вопроса зависит от воли победителя. Семнадцать лет война свирепствует в Европе! Прекратите ее, и побежденные вами народы с радостью будут приветствовать вас как своего верховного владыку. Я отвечаю вам за свое отечество. Только оставьте нам наши границы и нашу национальность; мы – немцы и желаем остаться ими и никогда не сделаемся подданными Франции.

Боссе ожидал взрыва императорского гнева и заблаговременно удалился к дверям.

Но против своего обыкновения Бонапарт сохранил хладнокровие. Сдерживал ли он свой гнев или действительно не был раздражен речью Эгберта, только он так же спокойно смотрел на него своими гордыми глазами.

– Все это я слышу в первый раз, – сказал Наполеон. – Благодарю вас за откровенность. Французские республиканцы хотели бы прогнать меня за море или умертвить; немецкие мечтатели желали бы обезоружить меня. Но вы упускаете из виду, что я всем обязан своей шпаге. Разве я веду войну для своего удовольствия?

Последнюю фразу он произнес резким, раздраженным голосом и, подняв руку, подошел к Эгберту, но тотчас же сдержал себя. Молодой немец показался ему слишком ничтожным для того трагизма, который он любил придавать вспышкам своего гнева.

– Победы и завоевания – мое ремесло и мое искусство, – продолжал Наполеон, – как для вас, быть может, писание стихов. Всякому свое. Везде и всегда сильный давил слабого. Судьба предназначила мне пересоздать мир. Если вы, австрийцы, не захотите подчиниться мне, то я сумею принудить вас к тому. Какое мне дело до национальных различий и вашей народности! Какое у нас число сегодня?

– Среда, двадцать второе февраля.

Император несколько секунд стоял молча перед картой, занятый своими соображениями.

– Три месяца! В мае я надеюсь быть в Вене. Мы можем продолжить тогда наш разговор в Шенбруннском саду. Теперь вы можете идти. Советую вам для вашей собственной безопасности скорее уехать отсюда.

Он поднял слегка свою маленькую белую руку. Эгберт удалился.

Дворцовая передняя была переполнена просителями и разными служащими; тут были министры, сенаторы, члены государственного совета. Аудиенция тянулась долее обыкновенного. Все с любопытством разглядывали молодого иностранца; одни завидовали ему, другие старались прочесть на его лице, в каком расположении духа находится император.

Лицо Эгберта горело. Проходя мимо толпы, он едва заметил ее, и, только спускаясь по лестнице, выходящей во двор, где стоял длинный ряд экипажей, он вздохнул свободнее и пришел в себя.

Садясь в наемную карету, он вспомнил о записке, переданной ему дворцовым камердинером. Кто другой мог написать ее, кроме Дероне, который уже не раз оказывал ему услуги и постоянно относился к нему с самым сердечным участием?

Эгберт решился немедленно отправиться на таинственное свидание, так как думал выехать из Парижа на следующий день. Он надеялся узнать что-нибудь от Дероне о судьбе Веньямина.

Rue de Moineaux была одной из многих переплетающихся между собою улиц на тесном пространстве между Вандомской площадью и Пале-Роялем.

Приехав на место, Эгберт без труда отыскал дом № 3. Это было большое пятиэтажное здание, с множеством квартир, переполненное жильцами. Но как отыскать Дероне? Если он не назвал себя в записке, то, вероятно, у него были на это основательные причины. После некоторого колебания Эгберт вошел в дом и обратился к привратнику с просьбой указать ему квартиру «Иосифа из Египта».

Привратник с удивлением посмотрел на красивого юношу, одетого в богатый придворный костюм.

– Я не знаю никакого Иосифа, – ответил он. – Вы, вероятно, отыскиваете Пентефрия! На третьем этаже, первая дверь налево.

Эгберт, занятый своими мыслями, не обратил никакого внимания на насмешливый тон привратника. Он понял только, куда он должен идти, и стал подниматься по узкой крутой лестнице. Благодаря этому он почувствовал еще большую досаду, когда перед ним отворилась дверь и он очутился лицом к лицу с хорошенькой Зефириной. Первой мыслью Эгберта было

обратиться в бегство. Он не принадлежал к числу поклонников Зефирины, которая окончательно оттолкнула его своим двусмысленным обращением с ним. Встречаясь чуть ли не ежедневно с Эгбертом у постели больной Атенаис, Зефирина так явно выказывала ему свое расположение взглядами и намеками, что он не раз терял терпение и с трудом удерживался, чтобы не сказать ей какой-нибудь грубости. Во избежание этого он разыгрывал роль недоступного и непонимающего, а теперь помимо своей воли очутился в ее квартире. «Что может подумать Зефирина об этом визите? – спрашивал себя Эгберт. – Предупредил ли ее Дероне, что ему пришла фантазия назначить мне свидание в ее квартире, чтобы перехитрить своих врагов?»

Все это еще более усиливало смущение Эгберта.

– Извините меня! – пробормотал он, краснея. – Я, кажется, явился к вам слишком рано.

– Напротив, я давно встала с постели и настолько прилично одета, что могу принять вас, господин философ, – сказала со смехом Зефирина, показывая ряд жемчужных зубов. – Вы, может быть, не согласны с этим? Да удойствуйте же меня взглядом.

Эгберт нехотя посмотрел на привлекательное, шаловливое существо с хитрыми глазками, в белом утреннем платье из тонкой шерстяной материи с розовыми шелковыми разводами.

– Вы обворожительны, мадемуазель! – сказал Эгберт. «Дероне, должно быть, предупредил ее, – мысленно утешал он себя. – Вероятно, мне недолго придется оставаться с нею наедине».

Зефирина усадила его рядом с собою на маленьком диване.

– Вы из Тюильри? От императора?

– Да, мадемуазель. Меня пригласили туда самым неожиданным образом.

– Надеюсь, он был милостив с вами. Говорят, он любит австрийцев и особенно австрийских женщин.

– Это было бы очень странно в настоящее время, когда он думает объявить нам войну.

– Сперва у него были в большой милости польки. Он ненастоящий француз, а потому ему нравится все иностранное.

– Я не заметил этого и не знаю также, откуда вывели вы заключение, что он любит австрийцев?

– Доказательством этого может служить одна ваша знакомая. Ее называют у нас «la belle Allemande», или она француженка?

– Молодая маркиза Гондревилль?

– Да. Это первая победа Наполеона над Австрией...

– Мадемуазель! – прервал ее Эгберт, который чувствовал себя как на горячих углях.

Зефирина засмеялась своим звонким, нахальным смехом.

– Вы краснеете, как робкий пастушок. Но ведь у нас за кулисами знают все, что делается в Тюильри. Говорят, эта красавица совсем очаровала Наполеона. Амур, оказывается, сильнее его. Разумеется, она уже не вернется в вашу скучную Германию; родители ее могут распрощаться с нею навеки. Атенаис от души хохотала, когда я рассказала ей эту историю. Она знает ее родных и называет их гордыми аристократами. Один из них, я забыла фамилию, вероломно бросил Атенаис, а эта...

Эгберт соскочил со своего места.

– Ах, не убивайте меня! – воскликнула Зефирина театральным тоном. – Вы не жених ли молодой маркизы?

– Я – и маркиза Гондревилль! Вот был бы подходящий брак! Разве вы не знаете, что у нас в Австрии бюргер не может жениться на аристократке?

Эгберт не хотел верить и не верил ни одному слову Зефирины, но он чувствовал себя глубоко оскорбленным, что имя его идеала оскверняется устами такого ничтожного существа. Ему хотелось скорее вырваться из этой комнаты, где сам воздух казался ему тяжелым и сдав-

ливал ему грудь. «Ах, если бы Дероне скорее пришел! – думал он с нетерпением. – Что могло задержать его таким образом?»

– Вот ужасная страна! – воскликнула Зефирина, всплеснув руками. – Значит, у вас в Австрии я не могла бы выйти замуж за графа или сенатора! Ведь это варварство. И вы еще хотите вернуться туда! Может быть, вас испугала какая-нибудь вспышка Наполеона? Но в моих глазах вы нисколько не потеряли от того, что лишились его милости, напротив...

– Вы слишком добры ко мне, мадемуазель.

– Но вы вовсе не заслуживаете этого и очень дурно обращаетесь со мной. Вместо того чтобы глядеть на меня, вы постоянно посматриваете на дверь. Противная дверь. Кто смеет войти сюда? Или вы хотите обратиться в бегство? Ну так я заранее приму меры предосторожности.

Прежде чем он успел удержать ее, она подбежала к двери, заперла ее и вынула ключ из замка.

– Прекрасный Адонис! – воскликнула она. – Ты пленник!

– Это уж слишком! Я желал бы знать: шутка ли это с вашей стороны или вы говорите серьезно?

– Господин философ, я хочу вам дать хороший совет. Вы попали в скверную историю.

– Что это за история? – спросил Эгберт, взяв ее за обе руки в надежде овладеть ключом, который она держала в правой.

– Этот Веньямин Бурдон – опасный заговорщик. Я всегда боялась его и ни за что не пригласила бы его лечить себя. Теперь с ним случилось большое несчастье. Но он сам виноват. Какое ему было дело до государства! Лучше бы хлопотал со своими больными.

– Он в тюрьме. Имеете ли вы о нем известия? Вероятно, его вышлют отсюда.

– Ну, у нас не любят шутить с заговорщиками, – сказала Зефирина, нахмутив брови. – Он поплатится за это головой.

У Эгберта замерло сердце.

– Неужели император решится на такую жестокость! Невозможно!

– Что делать! *Save qui peut*. Вы первый должны сделать это. Вы были неразлучны с этим Бурдоном и знали о заговоре. Цель его всем известна. – Она сделала движение примадонны, которая закалывает кого-то кинжалом. – Доказательство вашего участия в заговоре налицо: вы постоянно носите с собой опал с орлом.

Эгберт был вне себя от удивления. Как могла она знать о существовании опала? Неужели Дероне имел неосторожность рассказать ей историю убийства?

– Вы не можете отрицать этого, – продолжала Зефирина, – этот камень служит знаком для заговорщиков, по которому они узнают друг друга. Если при аресте его найдут у вас...

– Им не за что арестовать меня.

– Вас могут задержать в минуту отъезда и произвести обыск под каким-нибудь предлогом...

– Этот камень не имеет никакого значения. Это простая безделушка.

– Если так, то подарите мне его на память. У меня он будет в безопасности, а вам это может стоить жизни.

У Эгберта вкрались подозрения, что Цамбелли подкупил ее, чтобы завладеть камнем, который может служить уликой против него.

– Жизни! – повторил Эгберт. – Ну, это мое дело. Я не ожидал от вас, что вы способны на гнусную измену! Вы, кажется, не подозреваете, какому человеку вы служите!

– Я хочу спасти вас, а вы меня обвиняете! Из-за вас я подвергаю и себя, и своих друзей величайшей опасности, а в благодарность вы называете меня изменницей! Как эти мужчины не понимают женского сердца!

В тоне ее голоса слышалась правда. Шевалье мог воспользоваться ее привязанностью к Эгберту и, быть может, уверил ее, что она должна выманить камень у любимого человека для его спасения.

– Простите, если я огорчил вас, – сказал Эгберт. – Но объясните мне, от кого вы получили все эти сведения.

– Вам до этого нет никакого дела. Послушайтесь моего совета, отдайте мне камень.

– Я не могу и не должен исполнить вашу просьбу. Назовите мне его имя...

В соседней комнате послышался шум.

– Измена! – воскликнула с рыданием Зефирина, ломая руки. Но краска, выступившая на ее лице, еще более усилила подозрения Эгберта. Он был уверен, что попал в ловушку.

Зефирина бросилась к двери.

– Вы не уйдете отсюда, – сказал решительно Эгберт, удержав ее за руку. – Я заставлю вас признаться мне во всем.

– Неблагодарный! Вот награда за мою любовь, за то, что я хотела спасти вас от ваших врагов.

В этот момент послышались три удара в дверь.

– Отворите именем закона!

Зефирина бросила на Эгберта взгляд, в котором выразилась вся ее любовь к нему, вместе с заботой об его участи и торжеством оскорбленной невинности.

– Теперь ты узнаешь, – воскликнула она, – что я тебе говорила правду.

– Откройте дверь, – сказал с нетерпением Эгберт, который хотел во что бы то ни стало выйти из своего трагикомического положения.

Зефирина отворила дверь.

– Мое почтение! – сказал со смехом Дероне, входя в комнату.

Зефирина тотчас узнала его, потому что полицейский чиновник часто прохаживался по залам Пале-Рояля, у Фраскати и в новомодном «Турецком саду».

– Вот странный способ являться к дамам! – сказала Зефирина с недовольной миной. – Разве я государственная преступница!

– Пока нет, мое сокровище! Но можешь легко навлечь на себя подозрение, если будешь так горланить. Каждое слово, которое ты говорила с этим господином, было слышно в коридоре. А дом этот так построен, что и стены имеют уши. Дай-ка взглянуть...

Зефирина схватила его за руку с видом добродетельного негодования, потому что он направился к ее спальне.

Дероне оттолкнул ее и, войдя в комнату, тщательно осмотрел ее. Но здесь никого не было.

– Тут был кто-то! – пробормотал он сквозь зубы, возвращаясь в первую комнату. – Теперь, сударыня, позвольте вас спросить, – сказал он, обращаясь к Зефирине, – какую это вы оперу разыграли здесь? Не собственного ли сочинения?

Зефирина смутилась, но не решилась солгать, зная, что Эгберт может выдать ее.

– Я узнала вчера, – ответила она, краснея, – что большая опасность грозит господину Геймвальду вследствие того, что он носит с собой известный камень, и решилась выпросить у него эту вещь. Если бы я просто написала ему, то он не пришел бы ко мне, потому что немцы добродетельны до отчаяния. Вот я и решилась послать ему таинственную записку во дворец, которая и была передана ему перед его аудиенцией у императора.

– Ты славная девочка, и этот господин обязан поцеловать тебя, – решил Дероне. – Правосудие слепо, но не полиция, мое сокровище. Скажи мне, кто сообщил тебе такие подробные сведения о господине Геймвальде?

– Он уже допрашивал меня об этом, но напрасно, вы тоже ничего не узнаете от меня, месье Дероне, несмотря на мое уважение к полиции.

– Мне пришло в голову, не citoyen ли Фуше опять ошибся, то есть герцог Отрантский пленился твоей мордочкой и...

– Что вы это выдумали? – ответила с негодованием Зефирина.

– Ну, если Фуше ничего не сообщал тебе, то это сделал один итальянец. Его зовут шевалье Виторио Цамбелли. Что ты так покраснела?

– Клянусь вам!..

– Верю, мое сокровище. Месье Геймвальд, помирись с этой дамой. Я отвернусь. Поцелуйте ее на прощанье. Вот так, отлично. Однако нам пора!

Дероне взял Эгберта за руку и, быстро спустившись вниз, сел с ним в карету.

– Уезжайте скорее отсюда! – сказал Дероне. – Попытка вырвать опал из ваших рук мирным путем не удалась ему; теперь он употребит силу. Странно, что ему не пришло в голову, что он сам выдаст себя! Из того, что он так хлопочет об этом камне, можно смело заключить, что он убийца Жана Бурдона.

– Он убийца! – повторил Эгберт.

– Несомненно, но вас он не боится, а только этого камня, свидетеля его преступления. Он придумал ловкую штуку с этой Зефириной! Сегодня, по счастью, один из моих людей следил за вами и сообщил мне, где вы. Но я не могу ежеминутно охранять вас. Чем скорее вы уедете из этого города, тем лучше. Как кончилась ваша аудиенция у императора?

Эгберт рассказал насколько возможно точно о своем свидании с Наполеоном.

– Вы говорили как честный человек, но все-таки берегитесь встретиться с ним. То обстоятельство, что он сдержал свой гнев, не предвещает ничего хорошего.

– Я уеду завтра. Не можете ли вы сообщить мне что-нибудь о Веньямине?

– Он изучает философию стоиков и применяет ее на практике в башне Vincennes. После первой победы на Дунае Наполеон возвратит ему свободу. Негодяй! Сегодня он бросает в тюрьму честного человека по своему капризу, а завтра выпускает его... Но вот мы доехали до вашего отеля. Выходите один. Я отправлюсь дальше. Слуги слишком любопытный народ. Завтра я увижу вас у почты. Я до тех пор не успокоюсь, пока не узнаю, что вы уже за Страсбургом.

Едва ли нужно было так уговаривать Эгберта, чтобы побудить его вернуться на родину. Он сам от всей души желал этого. Почва Парижа жгла ему ноги. Сильнее писем графа Вольфсегга, сильнее даже желания видеть Магдалену, образ которой все яснее выступал из тяжелого тумана последних дней, понуждала его к возвращению забота о родине. Как ни слаба была его рука в гигантской борьбе, которая должна была начаться через несколько недель, но Австрия не должна быть лишена этой руки. В городе, которому неприятель грозит истреблением, немало работы для каждого, без различия пола, звания и состояния.

Как давно не получал он писем из Вены! Эта переписка, сначала доставлявшая ему большое удовольствие, постепенно сделалась для него источником нескончаемых мучений. С тоской по родине соединялась боязнь за участь графа Вольфсегга и Магдалены. Ему казалось, что он своим присутствием оградил бы свою возлюбленную от козней шевалье, от всего, что могло нарушить ее спокойствие и безопасность.

Нетерпение Эгберта уехать из Парижа усиливалось с каждой минутой. Ему предстояла еще тяжелая обязанность проститься с Антуанеттой. Как странно сложились их отношения в последнее время! В противоположность всему тому, что рисовала его фантазия, и даже, быть может, желаниям графа Вольфсегга, чужбина не только не сблизила, но навсегда разлучила их. В городе равенства и свободы разница их рождения и положения в свете сказала еще сильнее, нежели в Вене и в замке графа Вольфсегга. Несмотря на революцию, Мартиньи сохранили в своем обращении высокомерие старинного французского дворянства. При австрийском дворе присутствие маркизы Гондревилль, графини Вольфсегг, среди многих еще более знатных и богатых женщин, было самым обыкновенным явлением, между тем как в Тюильри, где цвет дворянства составлял редкость, Антуанетта сразу заняла самую видную роль. Непосредствен-

ная близость к их величествам окружила ее лучезарным блеском и поставила ее в заколдованный круг, недоступный для Эгберта.

В первое время своего пребывания в Париже Антуанетта была поглощена заботой о брате; теперь ее занимали только празднества, которые следовали одно за другим нескончаемой вереницей. Каждое из них доставляло ей хлопоты, огорчения и блаженство.

Эгберт чувствовал, хотя между ними не было произнесено относительно этого ни одного слова, что чем ближе становится Наполеон ее душе, тем больше она удаляется от него. Он был убежден, что в словах Зефирины не было ни тени правды, но не мог отрицать, что в чувствах и понятиях Антуанетты совершился полный переворот.

– Неужели и ты, прекрасная звезда, навсегда померкнешь для меня? – спрашивал себя Эгберт, подходя к дому Мартины.

Вечер еще не наступил. Сумерки только что начали сгущаться над городом. Ни одна звезда еще не зажглась на однообразном фоне неба. Никогда желания Эгберта не простирались до надежды получить руку Антуанетты, но никогда также возможность потерять ее не представлялась ему с такою ясностью, как теперь. Холодная беспощадная действительность предстала перед ним во всей своей наготе. Неужели он навсегда должен расстаться с существом, бывшим так долго его идеалом, и перед вечной разлукой выслушать избитую фразу: счастливого пути! Неужели он не сделает никакой попытки удержать милый образ? Но что мог он сказать ей? Если бы даже он фактически имел власть вырвать ее из заколдованного круга, в котором она находилась, то и тогда он бы не посмел применить эту власть к гордой и упрямой девушке.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.